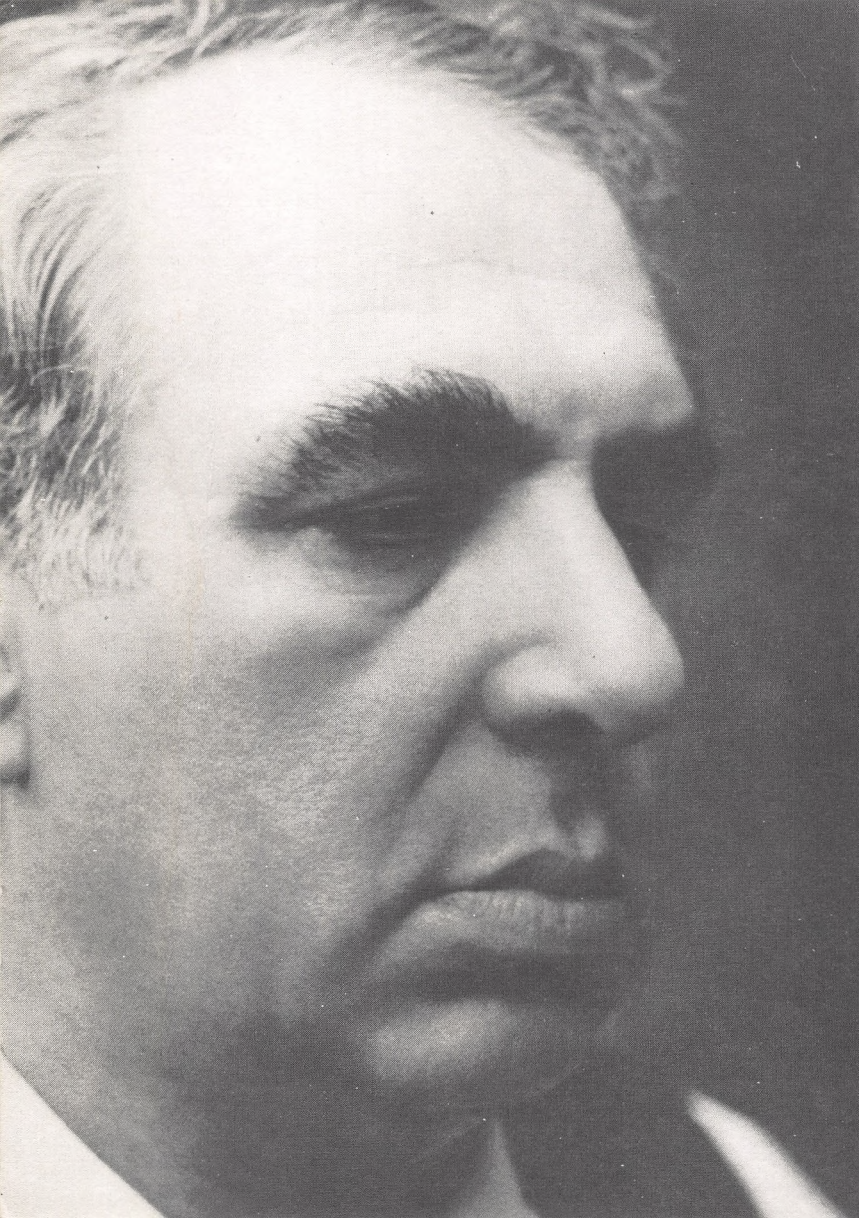


ЕВГЕНИЙ
РЕЙН

Мелкота
Зеркал



ЕВГЕНИЙ
РЕЙН



СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1990

ББК 84 Р7
Р 35

Художник
ВАЛЕРИЙ ЛОКШИН

4702010202—498
Р ————— 224—90
083(02)—90

ISBN 5—265—01287—7

© Издательство
«Советский писатель», 1990





ДВЕ ОБЛАСТИ: СИЯНИЯ И ТЬМЫ
ИССЛЕДОВАТЬ РАВНО СТРЕМИМСЯ МЫ.
ПЛОД ЯБЛОНИ СО ДРЕВА УПАДАЕТ:
ЗАКОН НЕБЕС ПОСТИГНУЛ ЧЕЛОВЕК!
ТАК В ДИКИЙ СМЫСЛ ПОРОКА ПОСВЯЩАЕТ
НАС ИНОГДА ОДИН ЕГО НАМЕК.

Е. А. Баратынский

МУЗЫКА ЖИЗНИ

Музыка жизни — море мазута,
ялтинский пляж под навалом прибоя.
Музыка жизни — чужая каюта...
Дай же мне честное слово, прямое,

что не оставишь меня на причале,
вложишь мне в губы последнее слово.
Пусть радиола поет за плечами,
ты на любые заносы готова.

Флейты и трубы над черным рассудком
Черного моря и смертного часа —
этим последним безрадостным суткам,
видно, настала минута начаться.

Белый прожектор гуляет по лицам
всех, кто умрет и утонет сегодня,
музыка жизни, понятная птицам,
ты в черноморскую полночь свободна.

Бьются бокалы, и падают трапы,
из «Ореанды» доносится танго,
музыка жизни, возьми меня в лапы,
дай кислородный баллон акваланга.

Что нам «Титаник» и что нам «Нахимов»?
Мы доберемся с тобою до берега,
этот спасательный пояс накинув,
и по пути подберем человека.

В зубы вольем ему чистого спирта,
выльем на душу «Прощанье славянки»,
музыка жизни — победа, обида,
дай мне забвенья на траурной пьянке.

Слышу, что катит мне бочку Бетховен,
Скрябин по клавишам бьет у окраин,
вышли спасательный плот мне из бревен,
старых органов, разбитых о камень.

Тонут и тонут твои пароходы,
падают мачты при полном оркестре,
через соленую смертную воду
пой мне, как раньше, люби, как и прежде.

НОВОГОДНЯЯ ОТТЕПЕЛЬ В ГОРОДЕ ЗЕЛЕНОГОРСКЕ, БЫВШИЕ ТЕРИОКИ

Так важно чавкала трава
под новогодней теплой жижей,
что не замерзла голова
под несезонной кепкой рыжей.
И только бешеный малыш,
скользя на узких санках финских,
прошел по следу старых лыж,
ближайший путь до моря вызнав.
И я пошел туда за ним
среди старых зданий териокских,
и смутный пар, что банный дым,
стоял столбами на торосах.
Здесь был когда-то интернат
в послевоенную годину,
в нем жил я много лет подряд
и в памяти не отодвину
бетонный дзот, где стенгазет
руководил я рисованьем,
над Балтикой предчувствий свет,
что стал моим образованием.
Под вечер отступал залив,
показывалось дно, мелея,
я становился не болтлив,
тихонько маясь и немея.
В кровосмесительном огне
полусферических закатов

вторая жизнь являлась мне,
ладоши в желтый дым закапав.
И вот я закруглил ее
и снова подошел к заливу.
Я понял за свое житье:
«Все ничего, а быть бы живу».
Стоять в предновогодний час
среди тепла зимы нестойкой,
на дно упрятав про запас
всего один мотивчик бойкий —
жить, жить! В морозе и в тепле,
любой норе, в любых хоромах,
на небе, в море, на земле,
в тиши и маршах похоронных.

НЕЖНОСМО...

Александрю Штейнбергу

«Утомленное солнце нежносмо...

нежносмо...

нежносмо...

...Нежно с морем прощалось...»

Режь на сто антрекотов

Мою плоть —

никогда

Не забыть, как пластинка

Заплеталась, вращалась...

Нету тех оборотов —

Ничего. Не беда.

Мы ушли так далеко,

мы ушли так далеко

От холодного моря,

от девятого «А».

Но прислушайся — снова

Нас везут в Териоки,

И от этой тревоги

вкруг идет голова.

Без тоски, без печали

на куски размечали

Нашу жизнь и границы

Выставляли столбы.

То, что было вначале

без тоски, без печали...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ну, чего тебе еще от меня надо?
Почему до сих пор долетает прохлада
этих улиц сырых, прокисших каналов,
подворотен, пакгаузов, арсеналов?
Вот пойду я опять, как ходил ежедневно,
поглядеть, погулять за спиной Крузенштерна...

...и вернусь через мост и дойду до Маринки,
где горят фонари до утра по старинке.
За Никольский собор загляну я украдкой,
там студент прикрепляет топор за подкладкой.
Вот и Крюков канал, и дворы на Фонтанке,
где когда-то гонял я консервные банки,
что мячи заменили нам в году сорок пятом...
Как меня заманили к этим водам проклятым?
Что мне в этом пейзаже у державинской двери?
Здесь при Осе и Саше в петроградском размере,
под унылый трехсложник некрасовской музыки
мы держали треножник и не знали обузы.
Мы прощались «до завтра», хорохорясь, цыганя,—
а простились от Автова до Мичигана.
Виден или не виден с чужедальней платформы
сей амбир грязно-желтый, европеец притворный,
этот Дельвиг молочный, и Жуковский румяный,
и кудрявый бессрочный этот росчерк буланный,
вороной и гнедой, как табун на бумаге,
и над гневной Невой адмиральские флаги?

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

Под черным лабрадором лежат мой дед и бабка,
среди охтенских суглинков, у будки сторожей.
Цветник их отбортован и утрамбован гладко,
поскольку я здесь не был сто лет — и он ничей.
В свой срок переселились с безумной Украины
они, прельстившись нэпом, кроить и торговать,
под петроградским небом купили половину
двухкомнатной квартиры и стали проживать.
Гремит машинка «зингер», Зиновьев пишет письма,
мой дед торгует платьем в Апраксином ряду
и, словно по старинке, пирожные в корзинке
приносит по субботам, с налогами в ладу.
А жизнь идет торопко — от бани до газеты,
от корюшки весенней до елочных шаров.
Лети, лети, вагончик, в коммуне остановка,
футболка да винтовка — и пионер готов.
И все это отрада — встают, поют заводы,
и дед в большой артели народу тапки шьет,
а ну, еще полгода, ну, крайний срок — два года —
и все у нас наденут бостон и шевиот.
Но в темном коридоре, в пустынном дортуаре
сжимает Николаев московский револьвер,
и Киров на подходе, и ГПУ в угаре,
и пишет Немезида графу «СССР».
А дед и бабка рады — начальство шьет наряды,
приносит сыр и шпроты, ликер «Абрикотин»,
границы на запоре, и начеку отряды,
и есть кинотеатры для звуковых картин.

А дальше все как надо — обида и блокада,
и деда перевозят по Ладоге зимой,
и даже Немезида ни в чем не виновата,
она лишь секретарша. О боже, боже мой!
Теперь в глубоком царстве они живут, как могут,
Зиновьев, Николаев, Сосо и лысый дед.
И кто кого под ноготь, и кто кого за локоть —
об этом знает только подземный ленсовет.
А я стою и плачу. Что знаю, что я значу?
Великая судьбина, холодная земля!
Все быть могло иначе, но не было иначе,
за все ответят тени, забвенье шеveledя.

ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

Ты подходишь к большой реке,
Возле чудищ Египта стоишь.
В мастерской на твоём чердаке
Хлам забвения, тьма и тишь.

Отворяешь дверь на балкон —
В этот час сверкает залив,
И заката Лаокоон
Стянут тучами вкось и вкривь.

Погляди на старый портрет,
Нарисованный так давно.
Тот, кто был здесь, сошел на нет,
Словно вышел за полотно.

Из футболок, спартакиад
Он давно пересажен в «ЗИС»,
Но еще он бывает рад
Выбить в парке почетный приз.

И уже восточный экспресс
Тащит в девять столиц его,
И подстегивает интерес
Все устроить из ничего.

Он еще попадет в Мадрид
И пробьет Беломорканал,

Захохочет еще навзрыд —
Он и в Мексике побывал.

В шевиотовое нутро
Он сует именной «ТТ»,
Шоколадное серебро
Ночью падает в декольте.

Что же будет в конце концов?
Как всегда: ничего и все.
А пока с ним нарком Ежов
Пьет в Алушке «Абрау-Дюрсо».

И пройдет миллион эпох,
Чернозем войдет в мезозой.
И мы видим: портрет не плох,
Светит искренней бирюзой.

Сквозь испорченные часы
Виден сурик и изумруд.
Жизнь и живопись так чисты —
Плоть покинут и не умрут.

ПРАЗДНИК

Я помню этот мрак бессонный
Среди осенней темноты.
День искренний, а не казенный
С утра переходил на «ты».

Простым четырехстопным ямбом
Мне невозможно описать,
Каким четырехсложным бантом
Мне шею украшала мать.

Мы выходили в сорок пятом,—
Отец под Нарвою убит,
Мне был сегодня старшим братом
Нарком, полковник, инвалид.

Толпа теснилась на Фонтанке
В бумажных розах кумача
И важно пропускала танки,
Что возвращались, грохоча.

Медь обрывалась духовая,
Ликуя, празднуя, кружа,
Литейный, дальше Моховая,—
К Дворцовой площади спеша,

Я слышал вой за два квартала,
Там, заглушая мегафон,
Непобедимо и картаво
Мы пели с четырех сторон.

И вот передние колонны
Срывались в правильный квадрат,
Четыре года обороны
Не утомили Ленинград.

Над ним могучая квадрига
Почти что падала в обком,
Ни одного, поверьте, мига
Мы не жалели ни о ком.

Ни о расстрелянных на месте,
Ни о распятых на кресте,
И не было достойней чести
Примкнуть к великой правоте.

До крыши украшая Зимний,
Портрет охватывал дворец,
И ленинградский сумрак синий
Рассеивался наконец.

И мы глядели очи в очи,
И отзывались на призыв,
Но, проклиная и пороча,
Я чувствую, еще он жив.

И желтые зрачки сквозь время
Скупили миллионы душ.
Зачем же врать — я шел со всеми,
Безумен, счастлив, неуклюж.

И тут же, со стены шершавой,
Где слабый облупился слой,
На нас слетал орел двуглавый
Пятиконечную звездой.

* * *

Г. З.

Деревянный дом у вокзала
Безобразной окраины Ганзы,
Где внезапно зауважала,
Приютила свои сарказмы
Просвещенная часть России...
Деревянный, где маневровый
Паровозик гудит разине,
Торопясь с трамваями вровень.
Пахнет кофе, копченой рыбой,
Гальюнами и просто пивом,
А в кофейнях пахнет «Элитой»,
В Кадриорге пахнет отливом,
Белой ночью болеют окна,
Истекая розовым гноем,
И флюгарка взывает тонко
К милым братьям за мелким морем...
Чепуха... Ни сестры, ни брата,
Только ты за стеной фанерной,
Двадцать лет приезжаю кряду
И приеду еще, наверно.
Разливай по стаканам водку,
Говори о дурацких сплетнях,
Но не жди никакого проку
От пятнадцати лет последних —
Мы давно перешли границу,
Нам давно обменяли паспорт,

Мы загнули свою страницу
И забыли, что было, насмерть.
И лишь утречком в воскресенье,
Когда сливки бегут в кофейник
И когда голова леченье
Принимает от легких денег,
Век связует свои суставы
И натягивает сапожки
И мяукает Окуджава
Голоском беспризорной кошки.

На шестисотом километре колодец есть у полотна,
 Там глубока до полусмерти вода и слишком холодна.
 Но нет другой воды поблизости, и, поворачивая ворот,
 Я каплю потную облизываю, пока не капнула за ворот.
 И достаю я пачку «Джебела», сажусь на мокрую скамейку,
 Вытягиваю вместо жребия надкушенную сигаретку.
 Мои зрачки бегут вдоль линии.

Сначала в сторону Варшавы,
 Где облаками соболиными закрыты дальние составы.
 Но сладко мне в другую сторону спешить,

к родному Ленинграду,
 И подгонять нерасторопную в пути путейскую бригаду.
 О паровозы с машинистами, позавчерашняя потеха,
 Как сборники с имажинистами, вы — техника былого века.
 И я не понимаю спутников, транзисторов и радиации,
 А понимаю я распутников, что трижды переодеваются,
 И, не спеша, сидят за столиком,

и медленно следят за женщиной,
 Позируя перед фотографом из этой вечности засвеченной.
 На свете что непостояннее, чем жизнь?

Отстав от века скорого,
 Не наверстать мне расстояния,
 как пассажирскому до скорого.
 Я докурил, и боль курения дошла до клапана
 уставшего.

Пришла пора испытать забвения
 из этого колодца страшного.

У ЗАСТАВЫ

Размешен снег и прах,
распутица несносна,
и на семи холмах
Москва великопостна.
Промокли сапоги
на площадях Восстаний.
Поди-ка беги
все семь высотных зданий.
Поди-ка получи
сто семь рублей и мелочь...
Холодные ключи
в какую щель нацелишь?
О, как разбухла дверь
разрушенной квартиры,
и падает капель
за воротник задиры.
Перекрести, Москва,
меня на эту Пасху.
Уймись, моя тоска,
и повтори под сказку:
залечь до сентября
вблизи Преображенской,
где смутная заря
чадит в тиши блаженной.
И дальний перестук,
что возле трех вокзалов,—
последний близкий друг
всех павших и усталых.

А вокруг лежит огромной
Рыхлой грядкой огородной
Протянувшийся квартал.
Я и сам такую ночью
Вижу, вижу все воочью —
Что хотел и чем не стал.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ

Посреди Великой Садовой,
В самом сердце чужой Москвы,
Ни к чему еще не готовой,
Не поправившей головы,
Я стою.

Облетает осень
Свежим золотом сентября,
Как ненужный агент заброшен
И засвечен почти зазря.
Для чего генерал трехзвездный
Мне о Родине лепетал?
Для чего истребитель поздний
Над зенитками пролетал?
Для чего я ампулы с ядом
Вшил в отглаженный воротник?
Для чего я жил с вами рядом?
Постарел, поглупел, обвык...
Там, на родине, в тайных списках,
В петроградском родном дыму...
Никогда не увижу близких,
Мать-Отчизну не обниму.
Я узнал о Москве такое,
Что не надо царя Петра,
И она погорит, что Троя,
И останется лишь дыра.
Но забыты мои шифровки,
По ночам передатчик ждет,

И бедняга связной в столовке
Диетический суп жует.
И в свой час упаду, ощерясь,
На московский чумной погост —
Только призрак прорвется через
Разведенный Дворцовый мост.

ДЖИМ

Старый бродяга в Аддис-Абебе...

Николай Гумилев

Старый бродяга из Коктебеля,
одиннадцать лет собачьего стажа,
почти чистокровная немецкая овчарка,
ты разлегся у меня под ногами,
безразличен к телевизору,
к суматохе на веранде.
В страшном ящике — полуфинал футбола,
за столом — последние сплетни, —
даже к ним ты равнодушен.
А ведь ты известен в самых дальних странах:
в Лондоне, Нью-Йорке, Монреале,
в Сан-Франциско, Мюнхене и Париже
тебя вспоминают.
Потому что многие прошли через веранду.
Ты гремел навстречу им цепью,
лаял охотно или так, для отчета,
тогда освобождали твой ошейник.
Грудь свою раздувая достойно,
появлялся ты на веранде.
«Джим! — кричали тебе. — Джимушка, Джимчик!»
Это было приятно.
Но достоинство — вот что основное.
Гости приходят и уходят,
но немецкая овчарка остается...

Год за годом приходили гости,
год за годом говорили гости,
пили пиво, чай, молоко и водку,
повторяли смешные словечки:
«мандриан», «шагал», «евтушенко»,
«он уехал», «она уехала», «они уезжают»,
«кабаков», «сапгир», «савицкий», «бродский»,
«джексон поллак», «веве набоков», «лимонов»
и опять — «уехали», «уезжают», «уедут»...

Вот и стало на веранде не так тесно,
но всегда приходит коровница Клава
и приносит молоко в ведерке,
и шумит, гремит проклятый ящик.

Дремлешь, Джим? Твое, собака, право.

Вот и я под телевизор засыпаю,
видно, наши сны куда милее
всей этой возни и суматохи.

Не дошли еще мы до кончины века,
уважаемая моя собака.

Почему же нас обратно тянет
в нашу молодость, где мы гремели цепью?

* * *

«Самой природы вечный меньшевик»¹,
давным-давно я от себя отвык:
ни шутки, ни попойки — Иегова
лишил меня на партсобранье слова,
еще немного — и лишит мандата...
Ну что ж такого, жизнь не виновата.
Знай плещет у метро, стоит ретиво
в затылок возле кооператива.
Зачем? Сама не знает. Что-то будет...
Пусть не признает, плюнет, обессудит
и пригвоздит, поставит в списке птичку,
но только даст мне верную отмычку:
о чем она рыдает и хлопочет —
никто не хочет жить и умереть не хочет.

¹ Строка из стихотворения О. Мандельштама «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...».



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАГОН

Вагоны «Рим — Москва», «Москва — Константинополь»
у этих вот платформ шлифуют сталь о сталь,
на запад и восток глядит проезжий Нобель,
глотаю свой бифштекс, склоняя свой хрусталь.

Он глянул на меня у поздней электрички
и раскурил свою сигару «Боливар»,
а я отвел глаза по лени и привычке,
но в униженья я недолго горевал.

Когда вернется он, то что застанет дома —
народный трибунал иль тройку ВЧК?
Поэтому всегда легка его истома,
поэтому всегда тверда моя рука.

В ДОРОГУ

Из комнаты, где ангел твой крыла
в анфас и в профиль прокрутил, что флюгер,
ты уезжаешь, и твои дела
мерцают и крошатся, точно уголь.
Ты разливаешь мутноватый чай,
приправленный кагором с карамелью.
Мы столько лет не виделись — прощай,
неизлечимо старое похмелье
полуреальных снов и неудач —
единственной возможности пригожей.
Какое ты свиданье ни назначь —
мы разошлись, как два истца в прихожей.
В квартире коммунальной тишина,
где черный ход — сквозняк из кухни барской.
А жизнь уже размотана, она
набаловалась речью тарабарской
азийских миллиардов, заводных
вертушек в мировом круговороте.
Куда ты вздумал убежать от них,
в каком уразуметь их переводе?
Давно сравнялись тропики и лед,
ведро времен позванивает донцем.
Как хорошо попасть под пулемет
Атиллы, отступая с Македонцем.
Пора, нас засыпает тишина,
выравнивая оком гиганта.
Что эти переезды? Только на
один прогон и никогда обратно.

ХИНКАЛЬНАЯ «ИНКИТ»

А. Битову

Здесь прятал цезарь, говорят,
Забавных пестреньких утят
На озере Инкит в Колхиде.
А ныне здесь рыбосовхоз,
И объясняет мне завхоз,
Что он на цезаря в обиде.

Утята улетели в Рим,
А мы сидим и говорим
В «Инкит» хинкальной на веранде:
«Где цезарь? Нет его примет».
У нас отдельный кабинет,
Но я не верю пропаганде.

Сохранны цезарь и Инкит,
Лишь обретают новый вид,
Пока проходят через вечность.
Утята мелкие пестры,
На склоне матовой горы
Все та же голубая млечность.

И ты, товарищ, побратим —
Вот мы сидим и говорим,
И дребезжит посуда тонко.

А цезарь варваров разбил,
И африканского распил,
И гладит пестрого утенка.

И через двести тысяч лет
Здесь будет медный парашет
И дискотечка для сатурналий,
И мы придем с тобой опять
Чего-то быстро пожевать
И встретить деву из Италий.

Она воскликнет: «Ах, пардон!
Евгений и Андрей, притон
Ужасно скучен в это время,
А в Риме бал и маскарад,
Там будет цезарь, говорят...» —
Все ясно, словно в теореме.

Но цезарь не придет на бал,
Он много пил и плохо спал,
И цезарю не до забавы,
И только уточка в углу
Ему милей сквозь зло и мглу
Всей власти, правды и отравы.

**УТРЕННЯЯ РЕЧЬ
ПО ДОРОГЕ В ДИГОМИ**

Т. Б.

На улице Гамбашидзе,
Где комиссионный хлам
И где, могу побожиться,
Густая пыль по углам,
Зато посреди столовой
Сияет хрустальный стол,
Сидишь ты, белоголовый,
Склоняя чужой глагол.

Шампанским и Телиани
Наполнено баккара,
И хватит играть делами —
Теперь отдохнуть пора.
Подходит к тебе собака
По имени Цы-бай-ши,
Как ты одинок, однако,
В своей дорогой глуши.

Наместник и император
Стоят за твоим плечом,
Кудесник и информатор
Тебе уже нипочем.

Ты понял размеры клеток,
Единых во все века,
И в театре марионеток
Ты дергаешь нить слегка.

И ты поднимаешь дивный,
Почти голубой стакан,
И падает отблеск винный
На белый чужой диван.
И ты говоришь хозяйке
Почтительные слова,
И лучшая речь всезнайки
Медова, что пахлава.

И все-таки вижу, вижу
Тебя в отдаленный год:
Пустую кровать и нишу,
Где скомканный коверкот,
И лязганье битых стекол,
И мелкий бумажный сор.
И смотрит довольный сокол
В горячий родной простор.

Грохочет в ночном Тбилиси
Загруженный грузовик,
И желтый зрачок у рыси
К победам уже привык.
В пустом знаменитом доме
Гремит безучастный залп —
Ты знаешь и это кроме
Испаний, Венеций, Альп.

В четыре утра выходим
С тобою к смешной Куре,
Пустое такси находим
В разнеженном ноябре.

И мчимся, дымя цигаркой,
В Дигоми, где новый стол,
И снова в квартире жаркой
Заморский звучит глагол.

Так здравствуй еще четыре
Последние тыщи лет,
Поскольку в подлунном мире
Другого такого нет.
Хромай через все науки,
Иди через все слова,
И нету на свете скуки
Печальнее торжества.

Вельможа и декламатор,
Начальник и тамада,
Твой преданный авиатор
Подбросил тебя туда.
Тебе букинисты Сены
Готовят интимный том,
И нету такой измены,
Чтоб вышла к тебе тайком.

И снова глядит вертушка
На скромный шотландский твид,
В приемной сидит старушка,
Которую выслал МИД.
Бери свой зеленый паспорт,
Валяй на большой простор,
Но помни — стреляет насмерть
Во тьме грузовой мотор.

РАННИЕ ПОМИДОРЫ

Я жил под горкой на бульваре,
На наши окна набивали
Два раза в год его портрет.
Здесь колготился Трубный рынок,
Но я не посетил поминок,
Уехал, выронил секрет.

Конструктивистский дом сломали,
И он запомнится едва ли,
Тот первобытный небоскреб.
А в нем когда-то жил Менжинский...
А нынче только дым бензинный
Да современный ультрагроб.

Прощайте, годы якобинства!
Какая здесь дороговизна —
В Центральном рынке на лотках.
Когда сошли и термидоры,
Десятку стоят помидоры,
Но все как было — в двух шагах!

МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ

В своей американской черной шляпе
широкополой
стояла ты на привагонном трапе,
там, где подковой
к Московскому вокзалу вышла площадь
и Паоло¹
когда-то взгромоздил на лошадь
облома,
а тот уехал.
И что-то меня мучает и гложет,
и слышу эхо
приветствий, поцелуев, тепловозов,
и вот потеха —
я снова слышу твой железный отзыв
на все вопросы,
и никогда не вытащить, о Боже,
твоей занозы,
и никогда не пересилить этой
стальной дороги,
не отвести угрозы.
И нынче, нынче, подводя итоги
и глядя слезно
в то утро, что светлеет на востоке
и где морозно,

¹ Паоло Трубецкой — скульптор, автор знаменитого монумента императору Александру III.

где фонари на индевелом Невском
стоят стеною,
я думаю, что жизнь прожить мне не с кем,
ведь ты со мною.



Холодным летним днем
у Сретенских ворот
не отыскать с огнем,
Москва, твоих щедрот.
«Вечерку» отложив,
я вижу — кончен день!
Еще покуда жив,—
отбрасывает тень
травы позеленей,
красней крепленых вин.
В небесной целине
пестра, как арлекин,
ночная тень Москвы
включает семафор,
наркотики тоски
и жажды самовар.
Великих городов
тем и велик разброд,
что падаль от плодов
никто не отберет.
Закончены дела,
прочитаны листы,
и все, что ты дала,—
все отобрала ты.
Не забывай меня!
Когда-нибудь потом
пошли и мне огня
расплавленным пятном.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОСЕНИ

Прекрасна родина. Чудесно жить в ладу
С ее просторами, садами, городами,
Вытягиваться утром в высоту
И понимать на ветреном мосту
Волны пронырливое рокотанье.

Вернуться за полночь домой. До мозжечка
Втянуть дымок и повернуть свой ключик,
Но поздней осенью не выплесть из венка
Ни роз, ни листьев, ни колючек.

Прекрасна родина. Сады ее пусты.
Нет поздней осенью от холода защиты.
И все-таки завьюженной плиты
Не променяй на выжженные плиты.

Согрейся как-нибудь. Укройся с головой,
Прости хоть до утра несносные обиды.
Не спится? Ничего. Лежи, глаза закрой,
Припомни всех — столь многие забыты.

Ты видел их, ты знал. Ты с ними заодно
На собственный манер страну свою устроил
Так зябко в комнате, так жутко. Но зато
Рассветный этот час тебе полжизни стоил.

Пора на холодок. Пододеяльник жестк,
А новый день похож на старое лекало.
И зеркало послушнее, чем воск,
Оттиснет твой портрет и подмигнет лукаво.

1972

ЭЛЕКТРИЧКА 0.40

В последней пустой электричке
Пойми за пятнадцать минут,
Что прожил ты жизнь по привычке,
Кончается этот маршрут.

Выходишь прикуривать в тамбур,
А там уже нет никого.
Пропойца спокойный, как ангел,
Тулуп расстелил наголо.

И видит он русское море,
Стакан золотого вина.
И слышит, как в белом соборе
Его отпевает страна.

ИЗ ЛЕРМОНТОВА

Памяти Аркадия Штейнберга

В начале сентября на волжской воле
так ветрено. Гудит осина в поле
и лесопилка в Белом Городке.
Воняет креозотом, формалином,
по радио: «По взгорьям и долинам...»
И мы спускаемся к реке.
Погрузим рюкзаки в устойчивую лодку,
уложим поплотней крупу, тушенку, водку.
Мотор забарахлит,
потом свое возьмет.
Плывите мимо нас, тверские деревеньки,
нам некуда спешить. Теперь уж помаленьку —
обратный ход.
Он кутается в новую штормовку,
и мне не проявить смекалку и сноровку —
я только пассажир.
Закурим, поглядим на мимолетный берег:
«Читай-ка «Валерик», как славно, что Валерик
нам денег одолжил!»
Он говорит, что «жизнь постиг,
судьбе, как турок иль татарин»¹,
равно за все он благодарен...

¹ См. «Валерик» («Я к вам пишу случайно, право...») М. Ю. Лермонтова.

«Да что там, Женя, я — старик.
Но как бы вам сказать? Ведь старость
совсем не то, что мните вы...» —
«Да, все признанья таковы.
А как понять?» Теперь осталось
до дома ничего совсем.
Все это было между тем,
в те времена, когда он с нами
мог пошутить, погоревать.
Над среднерусскими лесами
начало осени. Опять
трава пожухла. Вон и трактор
чего-то бьется на меже,
доказывая свой характер.
А небо в лучшем неглиже —
такая облачная тонкость.
И вот последняя подробность:
обедали, он сел к столу
и мне сказал: «А ту строфу
из Лермонтова я запомнил,
поверишь ли, в пятнадцать лет
и этот повторял завет
везде — в издательствах, на полустанках,
в окопах и госпиталях,
в удачах, а равно в отставках,
на пересылках, в лагерях.
И вот теперь все то же, то же
я говорю, дай повторю...
Теперь и свериться негде
по старому календарю.
Ты думаешь, что старость это?..
А старость просто ближе к тем.
Пойдем дойдем до сельсовета
и попросимся затем».
А через час внезапный холод,
сиверко, тьма и мокрота.

Ты думаешь, что жив, что молод,
что где-то люди, города,
и кровью артериальной
кипит колеблющийся вал...
О, если б на платформе дальней
опять я одиноко стал
и в ожидании отъезда
подумал: «Больше никогда...»
О, как свободно, страшно, тесно
небесная блестит слюда.
Ни слова больше. Снисхождением
и мертвых можно оттолкнуть.
«И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробуждении?»

СОСЕД ГРИГОРЬЕВ

Нас двое в пустынной квартире,
Затерянной в третьем дворе.
Пока я бряцаю на лире,
Он роется в календаре,
Где все еще свежие краски
И чьи-то пометки видны,
Но это касается русско-
Японской забытой войны.
Ему уже за девяносто.
Куда его жизнь занесла! —
Придворного орденосца
И крестик его «Станислав».
Придворным он был ювелиром,
Низложен он был в Октябре.
Нас двое, и наша квартира
Затеряна в третьем дворе.
А он еще помнит заказы
К светлейшему дню именин,
Он помнит большие алмазы
И руки великих княгинь.
Он тайные помнит подарки,
Эмаль и лазурь на гербах,
И странные помнит помарки
На девятизначных счетах.
Когда он, глухой, неопрятный,
Идет, спотыкаясь, в сортир,
Из гроба встает император,
А с ним и его ювелир.

И тяжело ему. Но полегче
Вдыхает забытый сосед,
Когда нам приносят повестки
На выборы в суд и Совет.

Я славлю Тебя, Государство!
Твой счет без утрат и прикрас,
Твое золотое упрямство,
С которым ты помнишь о нас.

НАД ФОНТАНКОЙ

Над Фонтанкой развал и разруха,
Дом на Троицкой тоже снесен,
Вылезает мерзавец из люка —
Волосат, до пупа обнажен.
На груди его синею вязью —
Серп и молот, двуглавый орел,
Самогоном набухли подглазья,
На висках золотой ореол.
Душной ночью идет он к собору,
На облешую бронзу плюет
И навстречу родному простору
Ненавистную песню поет.
Капитальный ремонт и разруха,
Довоенная заваль и дичь,
ГПУ, агитпроп, голодуха
Залегли под разбитый кирпич.
И оттуда тяжелою пылью
На развалины сели мои —
Отлетающая эскадрилья
В боевой предрассветной крови.
Рассыпайся же, многоэтажный
Дом презрения, кражи и лжи,
Невский сумрак, сырой и бесстрашный,
Заползает в твои этажи.
Возвращайся, дитя и бродяга,
В подворотню, где баки гниют.
Все, что надо — судьба и отвага —
Этой ночью тебя признают.

Дом на Троицкой — темные флаги
На развалинах веют, клубясь,
И летят в подворотню бумаги,
Чернокнижьем твоим становясь.

ЗА КРУЗЕНШТЕРНОМ

В. Беломлинской

Все как было. За стрелкой все те же краны,
лесовоз «Волгобалт» за спиной Крузенштерна,
только время все круче берет нас в канны
и вот-вот завершит окружение, наверно.
На моем берегу отлетела лепнина,
а на том перекрашен дворец в изумрудный...
На глазах этот город еще коллективно
завершает свой пасмурный подвиг безумный.
Он толкает буксир по густому каналу
и диктует забытые ямбо-хореи,
он хотел, чтоб судьбина его доконала —
как угодно, — он шепчет: «Абы скорее!»
Для чего это все? Как чертил его зверский
императорский коготь на кожаной карте,
как вопил ему в ухо заросшее дерзкий
и ничтожный мятежник в смертельном азарте?
Для чего здесь Григорий загрыз Николая?
Отчего эта жилка до капельки бьется?
Поселение гуннов? Столица вторая?
Только первая! Ибо второй не живется.
Все уехали... Даже и я (что неважно),
никуда не прибудешь, ничего не изменишь.
Только в темном дворе окликаешь протяжно
и грозишь незнакомке, что до нитки разденешь.
А она-то согласна, но медлит чего-то...
Все пустое, как окна при вечном ремонте.

Будет срок — и повесят на Доску почета
или даже утопят в зачуханном понте.
Но когда я иду на Васильевский остров
и гляжу, как задымлено невшское небо,
я все тот же, все тот же огромный подросток
с перепутанной манией дела и гнева.
Объявляю себя военнопленным,
припаду к сапогам своего конвоя,
чтобы вечером обыкновеннолетним
одному за всех вспоминать бывое.

ЗАВТРАК НА БАЛКОНЕ

Поздно утром на торцевом балконе
Голубого курятника в приморском парке —
Яйца всмятку, редиска и во флаконе
Зарубежном — напиток домашней варки.
Плюс геополитика в свежей «Правде»,
Плюс письмо из имперской бывлой столицы —
Это слишком, и я понимаю, вряд ли
Я сумею свое взять и поделиться
С этим мальчиком в перелицованных брюках,
Что обменивал хлебный талон на марки,
Со студентом, канал обходившим Крюков
И шептавшим Брюсова без помарки,
Бестолковым любовником, что однажды
Влез в кровать по расшатанному карнизу,
С тем, у коего, все навсегда отнявши,
Бог удачи продлил золотую визу.
Они были лучше, чем я, атлеты,
Тот бегун, тот стайер в соленой майке,
Потому сейчас, в середине лета,
Сообщаю это им без утайки:
— Что ж вы робко теснитесь под тентом, тени?
Все здесь ваше, а я заказал лишь столик.
Так раскиньте в плетеных креслах колени,
Громовержец, шептун, сластолюбец, стойк.

MEMORIAL
SERIAL



В ТЕМНОМ БЛЕСКЕ

По железу ранним утром в темном блеске
чешет дождь, я поднимаю занавески.
Вот он, мой неотвратимый серый город,
дождь идет, как заводной и верный робот.
Ну, чего тебе в такое утро надо,
ранней осени бессмертная прохлада,
поздней жизни перекопанная нива,
линза света — переменчивое диво?
Здесь и зелень, и багряно-золотое,
мел и темень, да и прочее любое.
Все, что было, все, что стало и пропало:
думал — хватит, а выходит — мало, мало!
Пусть идет он, этот дождик, до полудня,
да и вечером, и ночью — вот и чудно!
Пусть размочит, размягчит сухую корку,
пусть войдет до самой смерти в поговорку.
И пока он льет, не зная перерыва,
все, что было, поправимо, нежно, живо.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Как жизнь перегородчата, я понял,
когда уже спускался вниз в долину,
и, словно при ремонте капитальном,
вдруг падали фанерные заслонки
и открывался план первоначальный,
по коему и строили квартиру.
И становилось все так очевидно...
Еврейский мальчик, сызмала отличник,
насобиравший сто похвальных грамот
и кавалер серебряной медали,
способный, умница, любимец деканата,
уже открывший пух и прах карьеры,
уже отпивший мутного портвейна
хрущевской оттепели,
сочинитель легких
и нервных молодых стихотворений,
где размешались кровосгустки джаза
на ленинградской мертвенной водичке,
где западные узкие наклейки
перешивались на шевьот советский,
но вовсе не стихами, а стежками
суровой рыхлой прозы жизнь скреплялась.
Такой вот мальчик вытащил однажды
из колеса зачуханной фортуны
особый жребий. Этот жребий был
чернильно выведен на бланке Ленгорсправки:
«Ул. Красной Конницы...», а дальше только цифры.
Он дверь нашел, и все переменялось.

.
Как страшно приближаться к русской музе,
высокой, располневшей после трех
инфарктов, той, что диктовала и «Бога»,
и «Пророка», «Недоноска», «Трилистник в парке».
Она сама себе под нос бормочет
наиновейшие стихотворенья,
она протягивает руку к вам,
увядшую, но женственную руку.
И тяжело пожатье и всесильно.
Она вам предлагает стул и чашку
кирпичного бессоннейшего чая.
Вот сахарница, бедный рафинад,
так подсластите первую отраву
и сделайте глоток — теперь уже
она вас никогда не пожалеет.



Н.

Вдруг над черноморьем долгие раскаты, хлябь, гром...
Боже, неужели, все уже случилось? Полыхай, гроза!
Разбежались голые пляжные людишки, и одни
Бегают босые, голенькие дети за волной.
Вот и я уселся, прячусь под навесом и залез в халат,
Спички отсырели, в пачке раскрошился местный табачок.
Что же будем делать?

Вспомним всех забытых, мертвых и живых,
За морскою далью в некотором царстве накрывают стол,
Под вишневой пенкой за вечерним чаем свежий каравай —
Мы его преломим, мы его помаслим — каждому кусок.
— Как вы побледнели, что вы, в самом деле?

Поправляйтесь тут.

— О, с какой охотой!

Неприменно, ясно, здесь наверняка...
Выйду на веранду, ты в цветастом платье,
рядом — гиацинт.

— Нет ли, ведь бывает, четверти стакана красного вина?
Всю эту дорогу, что считают жизнью, я любил тебя.
Всю эту минуту — перелет за море — я спешил к тебе.
И теперь мы вместе.

Видишь, аметистом блещет гиацинт,
И теперь, конечно, точно черноморье, плещется вино.
Как знакомо, мило, дорого, приятно мне твое лицо —
Русые кудряшки, сильные надбровья и припухлый рот.

Помню я, что имя было превосходно. Ты хранишь его?
Впрочем, слышишь, знаешь,

что там заиграли в комнате большой?

Поглядим с веранды —

в этот час далекий чистый окоем.

Что там?

Ах, узнать бы, что случилось с нами в стороне родной?

* * *

Н.

Ты читаешь вполголоса,
Абжур светлокож,
Свет, пронзающий волосы,
На сиянье похож.
В этот вечер гадания
Все, что будет, сошлось,
И скрестилось заранее,
И пронзило насквозь.
Чем страшнее история
В старой книге твоей,
Тем яснее крестовая
Тень в проеме дверей.
То обиды и горести,
Точно доски, грубы...
Вот и свежие новости
С перекрестка судьбы.
Ты читаешь, не видишь их,
Так и быть — не гляди.
Все осилив и выдюжив,
Ты прижмешь их к груди.

* * *

Н.

Твой медленный голос с Кавказа
пробился, едва шелестя,
и самая главная фраза
дошла лишь минуту спустя.
Пока он бродил над страной,
я высмотрел пасмурный сон —
ты знаешь, что стало со мною,
когда прозвонил телефон?
А здесь, в ленинградском тумане,
все та же усталая блажь,
но это мы знали заранее,
вписали в чужой репортаж,
когда мы уехали навек
и снова вернулись тайком,
когда в царскосельских канавах
разжились ничьим пятакон.
Затем и безмолвствует провод,
и бьется батумский прибор.
Я снова безумен и молод,
а правда всегда за тобой.

* * *

Н.

Братья, пустите домой,
Черное платье — долой,
Дайте воды и вина,
Ночь наконец не видна.
Желтый плывет абажур,
Много, но не чересчур.
Кожа и лайка твоя —
Ах ты, зазнайка моя.
Пусть нам Вертинский споет,
Скрябин по клавишам бьет,
Черное это белье
Все ж не черней, чем былье...
Сверху бубновый валет.
«Да,— говорю тебе,— нет».
Поздно приходит любовь,
Поздно расходится кровь,
Кровь у тебя на губах,
Спи у меня в головах,
Падает тонкий стакан,
Валится аэроплан,
Тонет британский линкор,
Выльется на коленкор
Самый последний глоток.
Дай мне забыться, дружок!

* * *

С. Довлатову

Все те же ионические поленницы в старом окне
подсыхают к отопительному сезону,
еще два-три визита сюда, и вполне
доживешь до заслуженного пенсионера.
И когда я приеду в последний раз,
чемодан подволакивая с отдышкой,
то с порога, как водится, вспомню Вас,
в Вашей комнате, сильно от Вас отвыкшей.
Но здесь как-то сподручнее атлантический перелет,
и когда бы стать ангелом на небесном шпиле,
то увидеть можно среди болот
то чухонское место, где жили-были,
и затем на обратном конце дуги —
безымянный берег в засохшем гриме, —
только там ведь, где сношены сапоги,
босоногого детства дается имя.
Потому и вытягивается губа,
и не можешь позвать и назвать не в силах —
так, в прозрачных сумерках век сгубя,
доживаешь, как мерин, до бредней сивых.
Было время, и мы не сказали: «Ты...»
Календарь закрыт, и не будет завтра,
потому и набиты разлукой рты,
не вкусившие досыта брудершафта.

ЕЛИСЕЕВСКИЙ¹

Здесь плыла лососина,
как регата под розой заката,
и судьба заносила
на окорок руку когда-то,
и мерцала огранка
янтарного чистого зноя,
и казалась таранка
лицо всероссийски речное.
Я сюда приходил,
под твои сталактиты барокко,
уходя, прихватил
от норд-веста и юго-востока
то, что знаю и помню
и чем закушу рюмку Леты;
только что-то сегодня
просрочены эти билеты.
Елисеевский, о!
Темнотою зеркал ты мне снишься,
высоко-высоко
ты под буйные своды теснишься,
ничего-ничего,
это было и, значит, со мною,
никуда не ушло,
ни за что не прошло стороною.

¹ Имеется в виду бывший Елисеевский гастроном в Ленинграде.

Стоит сунуть десятку
в твою золотую кабину,
и глубокую шапку
я снова на уши надвину.
Поглядит на меня продавщица
в бессмертном отделе.
Что ж, она отлучиться
могла, да и эти огни прогорели.
Я последним стою,
и звенит колокольчик: «Закрыто».
Ни фортуна, ни ссора,
ни даже пустая обида...
Сыпь мне мелочь, гони,
наконец, распоследнюю сдачу,
а умру — помяни,
и в ответ я невольно заплачу.
Потому что здесь был
пресловутый эдем нашей жизни,
потому что не место
ни каверзе, ни укоризне
там, где дали кусок
и налили граненый стаканчик,
где ломался басок
и бывал неуживчивый мальчик.
Не за жир и витрины,
а за истину истинной веры
и за Екатерину,
что глядела в огромные двери,
я запомнил тебя
кафедральным амбаром, собором
и гляжу на тебя сиротой,
но совсем не с укором.
Было, было — прошло
и уже никогда не настанет.
Осетрина твоя
на могучем хвосте не привстанет,

чтобы нам объявить:
«Полкило нарезаю потолще!»
Это все хорошо,
что так пусто, угрюмо и тоще.
Это все ничего,
если время и знамя упали,
даже лучше всего —
пустота в этом оперном зале.

* * *

Темный дождик в переулке,
Негде высушить носки —
Вот про это пели урки,
Умирая от тоски.

Вот про это, вот про это,
Вовсе ни о чем другом.
Никого нельзя проведать,
И никто не пустит в дом.

Черный кофе, черный кофе,
Красно-белое вино,
Дорогие, что вы, что вы,
Разве вам не все равно?

Если я войду незванный,
Отсыревший до нутра
И устроюсь возле ванной
До шести часов утра?

Что же делать? Что же делать?
Кто-то запер адреса.
Он же щедро сыплет мелочь
Чаевую в небеса.

Или, может быть, оттуда
Водопадом пятаков
Опускается простуда —
Заработок простаков.

1970

Лишь теперь, и то под злющим гримом
Всех твоих усмешек,
Объявляю: был твоим любимым,
Крепкий мой орешек!

* * *

Ночной истребитель, во мраке
Пронзающий правду и ложь,
Как будто бы пачку бумаги
Проходит охотничий нож.

Раскинув косыми крылами,
Уставший от тайных трудов,
Ты падаешь в грязное пламя
Бесчинствующих городов.

Убийство твое поправимо,
Хотя и окончен полет.
Ты — женщина наполовину,
И это спасенье твое.

Лежишь на случайной постели,
Зеленым зрачком поводя,
Ты кто же теперь в самом деле,
Машина? Русалка, дитя?

Я стал бы твоим ординарцем,
Когда бы не знал наперед,
Что в небе твоём кардинальском
Погибну, как первый пилот.

Тебя обуздать невозможно,
Любить тебя надо, пока
Не сгинешь ты тварью безбожной
В ночные свои облака.

КОЛЬЦО «Б»

Суета сует,
толчея толчей,
предзакатный свет
твой и мой — ничей.
Мой троллейбус «Б»,
почему не «А»?
Говорю тебе,
что всему хана.
А куда пойдешь,
разве на вокзал?
Но не суматошь,
глянь, как сумрак ал.
На него падет
ночь темней ночей,
это наш оплот:
твой и мой — ничей.
Поведи меня
на чужой чердак,
отпусти меня
просто, просто так.
Ты меня умней
в девятнадцать лет,
глянь — из-за дверей
беспробудный свет!
У меня пальто —
шелковистый кант,
купим то и то
и развяжем бант.

В шесть утра опять
на троллейбус «Б».
Подойди, погладь —
говорю тебе.

ТАРАС БУЛЬБА

Загибает морозец —
наконец, наконец!
Погибай, запорожец,
застывай, холодец!
Уплывай по предплечью,
изуверская речь,
Запорожскою Сечью
можно насмерть засесть!
Что ж вы, руки родные
и родные войска?
Кто-то должен Андрия
порубать от виска.
Но шляхетски играют
кружева простыни,
никого не свергают,
укрывают они.
Говори, моя панна,
жизнь дешевле тебя,
и глубокая рана —
дорогая судьба.
Сбей последнюю пену,
повались наповал.
За такую-то цену
я и сам бы пропал.



Сентября последнее,
а жара — что летняя,
и бульвар Кропоткина
насыпает под ноги
шелуху ничтожества,
мелочи художества.
Только так же щуришься
ты под поздним солнышком
и опять красуешься
вежливым зверенышем.
Я-то знаю истинно
все твое палачество —
сверху вроде чистенько,
но потом наплачешься
шелухой летнею,
грязью новогоднею,
изуверской сплетнею,
зимней подворотнею.
Не клади мне на руку
изумруд отточенный,
знаю по каталогу:
все у нас окончено.
Той последней каплею
крови на царапине,
болью темно-сладкою
по прекрасной гадине.



* * *

Жизнь прошла, и я тебя увидел
в шелковой косынке у метро.
Прежде — ненасытный погубитель,
а теперь — уже совсем никто.

Все-таки узнала и признала,
сели на бульварную скамью,
ничего о прошлом не сказала
и вину не вспомнила мою.

И когда в подземном переходе
затерялся шелковый лоскут,
я подумал о такой свободе,
о которой песенки поют.

Я ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ТЕБЕ...

И медный царь, и Летний сад,
и Моховая
теперь в лицо тебе глядят,
не узнавая.
Смеркается среди глухих,
пустых окраин,
теперь наш детский край затих,
умолк, охаян.
И Невка мелкою волной
молчит под утро
о том, что знали мы с тобой,
но помним смутно,
о том, что я совсем забыл,
а ты задумал,
о всех, кто с нами жил и был,
уехал, умер.
А может, вместе ты и я —
два полубрата,
и эта невская струя
не виноваты
и в том, что нету никаких
теперь известий,
и мой звонок к тебе затих
в пустом подъезде.

ведь было это названо, забыто и заброшено,
но было слово сказано, и значит, значит... боже мой!
Когда с тобой увидимся и табаком поделимся...
Не может быть, не может быть, но все же понадемся.

ЛЮБОВЬ К ЛИЛОВОМУ

Совсем не осталось писем, и нет почти фотографий,
Одни записные книжки исписаны до конца.

А выбраться невозможно — как черту из пентаграммы,
Пока повелитель духов не повернет кольца.

Рассыпались наши фигуры: овал, квадрат, треугольник,
Распался карточный домик, заржавел магнитофон.

Теперь уже не припомнить, кто друг, кто муж,
кто любовник,

Кто просто тянул резину, кто был без ума влюблен.
Теперь уже не собраться на Трицкой и Литейном,
Молчат телефоны эти, отложены randevu.

Никто не сможет распутать тех сплетен
хитросплетенье,

Поскольку все это было так ясно и наяву.

Одиннадцатого апреля и двадцать четвертого мая

Я пью под вашим портретом, читаю ваши стихи.

Наземный транспорт бессилен —

уж слишком дуга кривая,

Воздушный путь покороче, да вот небеса глухи!

Жильцы чужих континентов, столицы и захолустий,

Кормильцы собственной тени и выкормыши казны,

Когда мы сменяем кожу своих обид заскорузлых,

У нас остаются только наши общие сны.

И тот, кто холодную почту своих кудрявых открыток

Содержит в полном забвенье, как заплутавший обоз;

И тот, кто честно выводит своих скитаний отрывок,—

Уже понимают: бумага не принимает слез.

А тот, кто остался дома, как бы наглotalся брома:
Не видит, не слышит, не знает, не чувствует ничего.
Он выбрал себе наркотик — пейзаж,

что в окне напротив,—

И искренне полагает, что раскусил Вещество.

Мы думали: все еще будет, а вышло, что все уже было.

На севере коротко лето — не следует забывать!

Любовь к лиловому цвету нам белый свет заслонила,

Прощай, лиловое лето,— проклятье и благодать!

1976

* * *

Памяти 10 марта 1966 года

На старой-старой хроникальной ленте
я вижу снова этот темный день,
весь этот сбор — по мелочи, по лепте.
И не понять — он больше или меньше
всей прочей жизни, — да и думать лень.

Морской собор в застуде и осаде,
цепочкой перевитая толпа,
два милиционера на ограде.
В каком таком Петра и Ленинграде
протоптана народная тропа?

Цветы замерзли. Тучи потемнели,
автобус принимает пышный гроб.
Зачем же вы стоите на панели,
неужто вы и вправду не сумели
киностекляшке глянуть прямо в лоб?

О милые, о смазанные лица,
прошло сто лет, и вас не различить.
Пока дорога снежная пылится,
пока скорбит убогая столица,
что делать нам? Нам остается жить.

И вы, друзья последнего призыва,
кто разошелся по чужим углам,
еще вот здесь, на старой ленте, живы,
еще шумит, галдит без перерыва
немая речь с подсветкой пополам.

* * *

А. А. Ахматовой

У зимней тьмы печали полон рот,
Но прежде чем она его откроет,
Огонь небесный вдруг произойдет —
Метеорит, ракета, астероид.

Огонь летит над грязной белизной,
Зима глядит на казни и на козни,
Как человек глядит в стакан порожний,
Уже живой, еще полубольной.

Тут смысла нет, и вымысла тут нет,
И сути нет, хотя конец рассказу.
Когда я вижу освещенный снег,
Я Ваше имя вспоминаю сразу.

1965

НОЧЬ В КОМАРОВЕ

*Памяти
Анны Андреевны Ахматовой,
Ильи Авербаха,
Владимира Торопыгина*

Три могилы — Илюши, Володи и Анны Андреевны —
обошел и отправился вниз по шоссе на залив.
Постоял у торосов, последним, растерянным,
предзакатным лучом старину осветив.
Над заливом на сером, лиловом и клюквенном
проступает лишь серпика узкий ущерб;
вот еще полминуты, и куколом угольным
покрывается все, что глядело вверх.
Закрываются дни, отгулявшие намертво, —
эти будки, побудки, мечты и мячи;
то, что будет еще, навсегда упомянуто;
то, что так позабылось, хоть плачь да молчи.
Эти розы и слезы, сонеты приморские,
эти зимние дачи и пляжные дни,
эти теплые плечи, колени замерзшие,
на открытом шоссе неземные огни.
На разбитом рояле запавшие клавиши,
по которым мальчишеский марш проходил,
и на этом запущенном маленьком кладбище —
три ограды еще не открытых могил.

АЛЬБОМ МОДИЛЬЯНИ

Всякий раз, открывая альбом Модильяни,
я тебя узнаю, но не с первого взгляда.
На продавленном нашем кошмарном диване
ты вздремнула, и вмешиваться не надо.

В неумытом окне не пленэр Монпарнаса —
ленинградские сумерки в бледном разливе,
вечный вклад сохранила на память сберкасса,
но дает по десятке в несносном порыве.

Надо долго прожить, надо много припомнить,
и тогда лабиринт выпускает на волю
эту мягкую мебель разрушенных комнат,
что была нам укромной и верной норой.

И стена восстает из холодного праха,
и гремит колокольчик полночного друга:
«Открывай поскорее, хозяин-рубаша,
эта смерть незаметна и легче испуга».

Собирается дождь над Фонтанкой и Невкой,
и архангел пикирует с вестью благою,
и на кухне блокадник шурует манеркой.
Просыпайся и сонной кивай головою!

Ты не знаешь еще — все уже совершилось
и описано в каждом поганом романе.

Я молился, и вышла последняя милость —
это жгучее сходство с холстом Модильяни.

КОМЕТА

За Фонтанку, за Международный¹,
На Сенную, на Обухов мост...
Где заката свет багрянородный
И кометы черно-бурый хвост.
Для чего повисла ты, комета,
Над Фонтанкой этой и Сенной?
Ты, недостоверная примета,
Что ты там твердишь над головой?
Или только потекаешь слуху
Посреди завравшихся небес?
Через нашу смуту и разруху
Объяви, что знаешь, наотрез.
Говори, к чему ты нас склоняешь,
Шьешь и порешь, что портновский нож,
Именем забытым окликаешь
Или клин вшиваешь в брюки клеш?
Но на трубах дальнего завода
Виден ангел Страшного суда,
И поет горластая свобода
Где-то там, за площадью Труда.
Если вправду ты закрыть решила
Наш непоправимый календарь,
Ножичком, обточенным до шила,
Под лопатку бешено ударь.

1986

¹ Старое название Московского проспекта в Ленинграде.

ЩЕЛКУНЧИК

Н.

Распахнулся бархатом лазурным,
Серебром нордическим светя...
Посреди плясало неразумно
Милое ученое дитя.
И темнее распускала люстра
Тени императорских затей.
Кто задумал нежно и искусно
Этим пляскам обучать детей?
Ведь искусству тлена не осилить,
И в глаза пророка не взглянуть,
Можно лишь предчувствие расширить,
Можно угол на тузе загнуть.
И когда, безумствуя, Нижинский
Выступает, точно призрак роз,
Только на секунду выше жизни
Прыгает божественный склероз.
И тогда летят чешуйки роем —
Лебеди, сильфиды и пажы.
Ты нам подкажи, мы их прикроем,
Ты нам объясни и прикажи.
Ведь под черным небом хватит моли,
И прихлопнем демонский полет,
Это вышло из Твоей неволи —
У Тебя и так полно забот.
Ведь сначала Ты поставил Слово,
Свел его с музыкой и тоской,

Этой ночью было все готово,
Рушилось нам в душу головой.
Мы б тогда и поняли, что значил
Замысел и замысла итог,
Кто и что Твое переиначил,
Кто Тебя забыл и не помог.
Всякому за это будет кара,
Хоть и всех накроет Твой прилив,
Кто умножил даже малость дара,
Кто схитрил, свой гений погубив.
Ниже мы разболтанной танцорки,
Той, что в Люциферово плечо
Слепнет, точно птица, дальнорорка,
Гибнет, как стрекозка, горячо.

ДОМ МУРУЗИ¹

Возле храма св. Пантелеймона, у вокзала,
где толпа красавца антиленинца растерзала,
дом доходный, девятиэтажный, в мавританском стиле,
кто с достатком, да и те, кто с блажью, там и жили.
Анфилады зал, гостиных, кабинеты, спальни,
а на именинах, на крестинах так хрустальные
эти баккара, бокалы, рюмки, вазы,
эти броши-розы, броши-лунки, бриллианты, стразы...
Там была квартира в бельэтаже — вид на церковь,
и когда-то в ней бывали даже Фет и Чехов,
Соловьев, Леонтьев, и Бердяев, и Бугаев,
и немало также благородных разгильдяев.
А какие пирожки, эклеры, а ботвиньи!..
Даже анархисты и эсеры не противны.
С этого балкона так удобно виден митинг,
и швейцар расспросит: «Что угодно?» — ражий викинг.
Но куда-то он исчез однажды (говорят, в эсдеки),
под балконом головы задравши, человеки
все кричали: «На-кася и выкуси по-таковски!»
Горячо им возражали Гиппиус и Мережковский.
Но матросы с золотом на ленточках в буром клеше
отзывались об антиленинцах еще плоше.
Были все резоны перелистаны — мало толку,
а ВИКЖЕЛЬ ручищами землистыми разводил, и только.

¹ Знаменитый доходный дом на Пантелеймоновской улице в Петербурге.

СТАРОКРЫМСКАЯ БАЛЛАДА

В Старом Крыму стоит девятисотый год,
козы пасутся и важно растет осот.
В старой пивной в тени честное пиво льют,
давние млеют дни, медленный чистый люд.
Не докатилась весть, и Порт-Артур не пал,
там, где на площадь въезд, длинный стоит портал.
В левом его окне — общество «Инвалид»,
в правом его окне чей-то портрет стоит.
Узкий мундир плечист, выношен аж до дыр...
Кто он? Кавалерист, Врангель или Якир?
Или татарский хан, или заезжий хрен?
Может ли истукан дать столь заметный крен?
Я захожу тогда в эту фотоартель:
«Добрые господа, дабы не длить канитель,
вы объясните мне, кто у вас там в окне?»
Мне говорит один турок или еврей:
«Добрый наш господин, выйдите из дверей,
сядьте на табурет, мы повернем портрет.
Как вы сказали?.. Нет, этого нет как нет!
Это герой войны, дважды майор Петров.
Это заказ жены. Только здесь нет цветов.
Ибо вянут цветы вот уже пятый год,
а получать заказ женщина не идет.
Выгорел весь мундир, лучше портрет не стал,
и показалось вам, будто бы генерал,
даже один погон сходит за эполет.
Точно сказать, кто он,— этого нет как нет!

Может быть, сняться вам? Просимо в павильон.
Сядьте пока на стул около тех колонн.
«Это подходит мне,— твердо я говорю,—
буду стоять в окне, выгорю — не сгорю.
Здравствуй, майор Петров, здравствуй и будь здоров,
штатский я человек, будь ко мне не суров.
Будем теперь стоять тысячу двести лет,
в левой руке сжимать камушек-амулет».
Тут и щелкнул затвор, вышел я в коридор,
ласково на меня Вечность глядела с гор.

АВСТРО-ВЕНГРИЯ

Да выковыривает плуг
Пуговицу с орлом.

Эдуард Багрицкий

На железнодорожной станции венгерской
В толчее денек,
А из-за ограды тычется железный
Траурный веноч.
«Был здесь, — говорят мне, — госпиталь военный
В тех сороковых».
Сколько же забытых, сколько незабвенных,
Мертвых и живых!
Пыльную травую поросло все это
В цвет сухих небес.
Пролетают мимо посредине лета
«Форд» и «мерседес».
«Здесь была казарма при имперском иге, —
Объясняют мне. —
И артиллеристы дыбили квадриги
В этой стороне».
Бакенбарды Франца и штилеты Швейка,
Вот и ваш черед!
Заросла в ограде кладбища лазейка,
Солнышко печет.
Полегла Европа в рыхлые траншеи,
Проиграл Берлин.
Только я не знаю ничего нежнее
Этих именин.

Девочки Европы в горбачевских майках —
Чудо из чудес.
Мальчики Европы в шортиках немарких,
«Форд» и «мерседес».
Что же я глазею, старый иностранец,
Тент мой полосат.
Пусть меня охватит нежный их румянец,
Легкий их азарт.
О, как бесконечно долго я не видел
Этой суеты.
О, как тихо тронул европейский ветер
На венке цветы.
Не припасть навеки черными губами
В полосатый шелк.
Только б расплатиться мелкими деньгами
За уют и долг.
И венок трепещет траурною лирой,
И спит Дунай.
Пользуйся, товарищ, этой жизнью сирой,
Но не умирай.

ДОМ ПОЭТА

Я был в квартире Эндре Ади¹
И не застал там никого.
И все же, все же, бога ради,
Не забывайте дом его.

Ни полинялые диваны,
Ни рамки в стиле «либерти»,
Венецианские стаканы,
Цена их — бог не приведи!

Не разрушайте дом поэта
Среди корысти и беды,
По случаю кончины света
И всяческой белиберды.

Свет отгорит и вспыхнет снова,
Взойдут народы и падут,
Но этого молитвослова
На столике не создадут.

И выцветший на фото локон,
Очаровательный овал
Из миллиона избран богом,
Чтоб я его поцеловал.

И, наконец, диванный валик,
Где Ади умер молодым,

¹ Э. Ади (1877—1919) — выдающийся венгерский поэт.

Мне виден через тот хрусталик,
Которым в вечность мы глядим.

И нам понять доступно это,
И выразить дана нам мощь,
Приют поэта, дом поэта —
Прихожая небесных рощ.

* * *

Где следопыт в шинели каменной
стоит на страже за римской храминой,
где профсоюз стучит печатями,
а лучший кровельщик бузит с девчатами,
что перемазали наш домик в розовый,
и он теперь-то и вовсе бросовый.
Где я вбегал к тебе по лестнице,
жене и неженке, своей прелестнице,
и где ступенька донине прогнута...
О, будь удачлива и вечно проклята!
За все и бывшее, за все небывшее,
за все, оскомину до дна набившее,
за все, что ты сказала, сделала,
за то, что знала и что не ведала,
за всю твою любовь-прощение
и за предательское поручение —
любить и звать тебя последним шепотом,
катить по жизни гремучим ободом,
прийти однажды на Мархлевского —
смиренно, тихо, украдкой, ласково —
сдать часовому и нож, и маузер,
за то, что слезы я впотьмах размазывал,
и врал, и верил, и звал отсюда
к северо-западу стыда подсудного,
за то, что ты меня с поличным выдала
на волю этого крутого идола,
и за его допросы вежливые,
за папиросы его насмешливые.

За ваши козни окаянные,
что отпустили без покаяния,
круша известку притворным высверком,
жить разрешили бездомным призраком.

БРЕСТСКИЙ МИР

В переулке Малом Левшинском,
в доме стиля рококо
Блюмкин жестом самым дружеским
размахнулся широко.
И павлины на плафоне
поглядели на него,
Мирбах в шелковом пластроне
не заметил ничего.
Не успели немцы чинные,
обитатели тех мест,
и по этой же причине
зря катался Троцкий в Брест.
Изумленная прислуга
опрокинула бокал,
некто в сером от испуга
необдуманно икал.
А посол стоял безжизненный,
наводя на строчки взгляд,
потому что сам Дзержинский
косо подписал мандат.
Фридрих, Менцель, Тинторетто
наблюдали со стены,
ведь они-то знали: это —
самый первый день войны.
Кайзер шел на Украину,
Черчилль крейсер торопил.
Блюмкин адскую машину
раскачал и отпустил.

Он стоял в кожанке новой —
мелитопольский еврей,
Герострат темноголовый,
хитроумный Одиссей.
А на кухоньке убогой,
поджимая камень губ,
из тарелки неглубокой
Ленин ел перловый суп.
И глядела Немезида
в зачерненное окно —
было все уже убито
и до срока решено.
Даже гений Леонардо
не сумел бы им помочь.
Блюмкин бросился обратно,
на Лубянку, в злую ночь.
Что касается же Мирбаха —
не осталось ничего.
Только имя. Мир праху его!
Все? Да, только и всего!

ФОНТАНЧИК

В коктебельском парке фонтан убогий,
Вылетает струйка: разлетается прахом
Водяным, но, однако же, сколь угодной
Она кажется мне, да и местным птахам,
Что хватают в полете пыльцу золотую
От высокого солнца и в радужной сетке,
И фонтанчик докладывает: «Салютую
Оком вод, разлетевшимся на фасетки».
Припадая губами, подставь ладошку —
Ничего, что мало, важней — старанье,
Ты живи и пей себе понемножку,
Выпьешь вечность — предсказываю заранее.
Подставляй под струйку седые букли,
Пусть течет за шиворот — так и надо.
Вот под майкой соски наконец набухли,
Это — женственность мужества (см. Паллада).
Подсчитай мне время мое, клепсидра,
И налей стаканчик еще с походом,
Ты, струя, единая не обрыдла,
Ибо схожа ты со слезой и потом.
Ибо что-то родное, совсем родное,
Что-то братское видно в твоём паденье
В эту землю, жадную к перегную,
Безысходно-вечную почву тленья.

...И В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДА...»

Через одну личность средних лет вы получите большую радость. Совершайте начатое дело. В трудный час вам помогут.

Из гадательного билета

Мне морская свинка нагадала
Ровно тридцать лет тому назад
Где-то у Обводного канала,
Где вокзал и где районный сад.
Там по воскресеньям барахолка
Составляла тесные ряды,
В тех рядах я разбирал подолгу
Модернистов ветхие труды.
Мне там попадались: Северянин,
«Аполлон», «Весы», «Гиперборей»...
И томился вечер у окраин
Петроградской юности моей.
Торговали книгами, играли
В карты и крутили патефон,
Там-то мне как раз и нагадали
Долгий путь под гулкой перезвон
Довоенных джазиков гавайских,
Медленного «Танго соловья»...
Белой ночью и в потемках майских
На дорогу эту вышел я.
«Совершайте начатое дело,
Кто-то вам поможет в трудный час».

И печально свинка поглядела,
Рафинад поймала, изловчась.
Видно, что-то знала эта свинка,
Только не хотела рассказать...
И вопила старая пластинка,
Что пора бы руки нам пожать.
Это пел неугомонный Козин,
И гремел разболтанный трамвай.
Помню я, как, весел и серьезен,
Веял кумачами Первомай.
Помню я, что навсегда приметил
Эту свинку и ее совет.
Никогда никто мне не ответил,
Угадала свинка или нет.
Кто помог мне в бедный, пылкий, трудный
В три десятилетия долгий час?
Может быть, от свинки безрассудной
Вся моя удача началась?
Белой ночью, сумрачною ранью
Дешево купили вы меня,
И лежит билетик ваш — гаданье
В книге Михаила Кузмина.

Может быть, сегодня это наконец-то разобьется
и в такой вот темный полдень будет жизнь разрешена.
О, вы все тогда вернитесь, сядьте рядом, дайте слово
никогда меня не бросить и уже не обмануть.

Боже мой, какая осень! Наконец, какая проседь!

Что сегодня ночью делать?

Как мне вам в глаза взглянуть!

Этот раз — последний, точно, я сюда ни разу больше...

Что оставил — то оставил, кто хотел — меня убил.

Вот и все: я стар и страшен,

только никому не должен.

То, что было, все же было.

Было, были, был, был, был...

СИРИУС НАД МААСОМ

Глядя на берег Мааса, где стройки железобетон...
Боже, какая гримаса в этом пейзаже речном!
В старом пустом ресторане, где вывален век либерти,
Что-нибудь, хоть Христа ради, но выпроси, приобрети.
Дайте мне рюмку ликера, дайте шпината еще,
Вздора, фурора, фарфора, но только еще и еще.
Пылко дышали тарелки — «веджвуд» с копченым угрем,
Выдумка смерть и безделка, может быть, мы не умрем.
Может быть, вечным обедом нас на террасе займут,
Ибо ответ нам неведом, ибо свидетели врут.
Так оскорбительно глупы, можно сказать, что глупы
Рябчиков тухлые трупы, устрицы, раки, супы.
Тихие флаги речные мимо уносит Маас,
Тени и пятна ночные... Сириус смотрит на нас.
Будь же ты проклято, небо, демон распятой земли,
Если за корочку хлеба мы тебя приобрели.



ПОЭМЫ



НЯНЯ ТАНЯ

...я высосал мучительное право
тебя любить и проклинать тебя.

В. Ходасевич

Хоронят няню. Бедный храм сусальный
в поселке Вырица. Как говорится, лепость —
картинки про Христа и Магдалину —
эль фреско по фанере. Летний день.
Не то что летний — теплый. Бабье лето.
Начало сентября...

В гробу лежит
Татьяна Саввишна Антонова — она,
моя единственная няня, няня Таня...
приехала в тридцатом из деревни,
поскольку год назад ее сословье
на чурки распилили и сожгли,
а пепел вывезли на дикий Север.
Не знаю, чем ее семья владела,
но, кажется, и лавкой, и землей,
и батраки бывали...

Словом, это
типичное кулачество. Я сам,
введенный в классовое пониманье
в четвертом классе, понимал, что это
есть историческая неизбежность

и справедливо в Самом Высшем Смысле:
где рубят лес, там щепочки летят...
Она работала двадцать четыре года
у нас. Она четыре года
служила до меня у папы с мамой...
А я уже студентик техноложки.
Мне двадцать лет, в руках горит свеча.
Потом прощанье. Мелкий гроб наряден.
На лбу у няни белая бумажка,
и надо мне ее поцеловать.
И я целую. ДО СВИДАНЬЯ, НЯНЯ!
И тихим-тихим полулетним днем
идут на кладбище четыре человека:
я, мама, нянина подруга Нюра
и нянин брат двоюродный Сергей.
У няни нет прямых ветвей и сучьев,
поскольку все обрублены. Ее
законный муж — строитель Беломора —
погиб от невнимательной работы
с зарядом динамита. Старший сын
расстрелян посреди годов двадцатых
за бандитизм. Он вышел с топором
на инкассатора, убил, забрал кошелку
с деньгами, прятался в Москве
на Красной Пресне. Пойман и расстрелян.
И даже фотокарточки его
у няни почему-то не осталось.
Другое дело младший — Тимофей, —
он был любимцем и примерным сыном.
И даже я сквозь темноту рассудка
в начале памяти могу его припомнить.
Он приезжал и спал у нас на кухне,
матросом плавал на речных судах.
Потом война...

Война его и няню
застала летом в родовой деревне

в Смоленской области.

Подробностей не знаю.

Но Тимофей возил в леса муку,
и партизаны этим хлебом жили.

А старший нянин брат родной Иван
был старостой села.

Он выдал Тимофея, сам отвез
за двадцать километров в полевую
полицию, и Тимофея там
без лишних разговоров расстреляли...

А в сорок третьем няню увезли
куда-то под Эйлау, в плен германский.

Она работала в коровнике (она
и раньше о своих коровах,
отобранных для общей пользы,
часто вспоминала).

А дочь единственная няни Тани
и внучка Валечка лежат на Пискаревском,
поскольку оставались в Ленинграде:
зима сорок второго — вот и все...

Что помню я? Огромную квартиру
на берегу Фонтанки — три окна
зеркальные, Юсуповский дворец
(не главный, что на Мойке,
а другой), стоявший в этих окнах,
няню Таню...

А я был болен бронхиальной астмой.

Кто знает, что это такое? Только мы —
астматики. Она есть смерть внутри,
отсутствие дыхания. Вот так-то!

О, как она меня жалела, как
металась. Начинался приступ,
я задыхался, кашлял и сипел,
слюна вожжой бежала на подушку...

Сидела няня, не смыкая глаз,
и ночь, и две, и три,

и сколько надо, меняла мне
горчичники, носила горшки
и смоченные полотенца.
Раскуривала трубку с астматолом,
и плакала, и что-то говорила.
Молилась на иконку Николая
из Мир Ликийских — чудотворец он.

.....

И вот она лежит внизу, в могиле, —
а я стою на краешке земли.

Что ж, няня Таня?

Няня, ДО СВИДАНЬЯ. УВИДИМСЯ.

Я все тебе скажу.

Что ты была права, что ты меня
всему для этой жизни обучила:
во-первых, долгой памяти,
а во-вторых,

терпению и русскому беспутству,
что для еврея явно высший балл.

Поскольку Розанов давно заметил,
как наши крови — молоко с водой —
неразделимо могут совмещаться...

.....

Лет десять будет крест стоять
как раз у самой кромки кладбища,
последний в своем ряду.

Потом уеду я в Москву и на Камчатку,
в Узбекистан, Прибалтику, Одессу.
Когда вернусь, то не найду креста.

.....

Но все это потом. А в этот день
стоит сентябрьский перегар
и пахнет пылью и яблоками,
краской от оград кладбищенских.

И нам пора. У всех свои дела,
и незачем устраивать поминок.

На электричке мы спешим назад
из Вырицы в имперскую столицу,
где двести лет российская корона
пугала мир, где ныне областной
провинциальный город.

Мне пора на лекции, а прочим на работу.
ТАК, ДО СВИДАНЬЯ, НЯНЯ. Спи, пока
Луи Армстронг, архангел чернокожий,
не заиграл побудку над землею
американской, русской и еврейской...

ВТОРОЕ МАЯ

Памяти Ильи Авербаха

В такой же точно день — второе мая —
Идти нам было некуда,
А надо куда-нибудь пойти.
И мы пошли с Литейного
Через мосты и мимо мечети
Туда, где в сердцевине петроградской
Жил наш приятель.
Он не очень ждал нас.
Но ежели пришли — пришли,
И были мы позваны к столу.
Бутылку водки принесли с собой
И в старое зеленое стекло —
Осколки от дворянского сервиза —
Ее разлили.

Ты — второе мая, —
Лиловый день, похмелье,
Что ты значишь?
Какие-то языческие игры,
Остатки пасхи, черно-красный стяг
Бакунина и Маркса, что окрашен
В крови и саже у чикагских скотобоев,
И просто выходной советский день
С портретами наместников, похожих
На иллюстрации к брюзжанью Салтыкова...
По косвенным причинам вспоминаю,
Что это было в шестьдесят восьмом.

Мы оба, я и мой приятель,
А может быть, наоборот —
Скорее все-таки наоборот,
Стояли, я сказал бы, на площадке
Между вторым и первым этажом
Официально-социальных маршей
Той лестницы, что выстроена круто
И поднимается к неясному мерцанию
Каких-то позолоченных значков.
Быть может,

ГТО на той ступени,
Где не нужны уже ни труд, ни оборона...
Приятель наш был человеком дела,
Талантом, умником и чемпионом
Совсем еще недавних институтов.
Он на глазах переломил судьбу,
Стал кинорежиссером — и заправским,
И снял свой первый настоящий фильм.
(И мы в кино свои рубли сшибали
В каких-то хрониках и «научпопах».)
Но он-то снял совсем-совсем другое,
Такое, как Тарковский и Висконти,
Такое же, для тех же фестивалей,
Таких же смокингов и пальмовых ветвей.
Ах, пальмовые ветви, нет, недаром
Вы сразу значиться по ведомствам обоим —
Экран и саван. Может, вы родня?
И вот сидели мы второго мая
И слушали, как кинорежиссер
Рассказывал о Кафке и буддизме,
Марлоне Брандо, Саше Пятигорском,
Боксере Флойде Патерсоне, об
Экранизации булгаковских романов,
Москве кипящей, сумасбродной Польше,
Где он уже с картиной побывал.
И это было все второго мая...

...Второго мая я сижу один
В Москве, уже давно перекипевшей
И снова закипающей и снова...
Что снова? Сам не знаю. Двадцать лет
На этой кухне выкипели в воздух.
Я думаю — и ты сидишь один
В своей двухкомнатной квартирке над Гудзоном,
Который будто бы на этом месте,
Коли отрезать слева вид и справа,
Неву у Смольного напоминает,
Но это и немало — у меня
Все виды одинаковы, все виды
Есть вид на жительство, и больше ничего.
Там, в этом баскетболе небоскребов,
Играешь ты за первую команду,
Десяток суперпрофессионалов,
Которые давно переиграли
Своих собратий и теперь остались
Под ослепительным оскалом
Всесветского ристалища словес.
И где-нибудь на розовом атолле
Сидит кудрявый быстрый переводчик —
Не каннибал в четвертом поколенье —
И переводит с рифмой и размером
Тебя на узелковое письмо. И это —
Финишная ленточка, поскольку
Все остальное ты уже прошел.
Ну что, дружок, еще случится с нами?
Лишь суесловие да предисловия.
А вот с хозяином квартиры петроградской
И этого не будет.
А он стоял в огромном павильоне,
И скрученное кинолентой время
Спеша входило, как статист на съемку
Стрекочущего многокрыльем фильма,
Да вдруг оборвалось...

...Второго мая
Мы все сидим в удобных одиночках
Без жен, которых мы беспечно растеряли,
И без детей, должно быть затаивших
Эдипов комплекс, вялый и нелепый,
Как всё вокруг. И наша жизнь не в том...
А в том — за двадцать лет
Мы заслужили такую муку,
Что уже не можем пойти втроем
По Петроградской мимо
«Ленфильма», и кронверка,
И стены апостолов Петра и Павла,
Мимо мечети Всемогущего и мимо
Большого дома «Политкаторжан»,
Откуда старики «Народной воли»
Народной волей вволю любовались.
Мимо еще чего-то, мимо, мимо, мимо...
Вот так проводим мы второе мая.

НИНЕЛЬ

В те времена она звалась Нинель,
звучало Нонна как-то простовато.
Все просыпалось, и цветенья хмель
нам головы дурил и вел куда-то.
Студентка иностранных языков,
она разгрызла первые романы,
и наконец Сережа Васюков,
как некий шкипер, выплыл из тумана.
Он по-французски назывался Серж,
и он пробил годов каменоломню,
я с ним дружил и все-таки, хоть режь,
как это получилось, не припомню.
Он появился сразу, он вошел
в зауженных портках и безрукавке
и с самого начала превзошел
всех остальных беседами о Кафке.
Он где-то жил в подвале на паях
с другим таким же футуристом жизни.
Они исчезли, закрутился прах,
и нету их давно в моей отчизне.
Она осталась и звалась Нинель
и декадентским мунштуком играет,
она преодолела канитель,
взяла барьер. Довольна ли? Бог знает.
Я помню, как в расширенных зрачках,
где кофеин перемешался с кайфом,
я отражался и почти зачах
в ее унылой комнатке за шкафом.

На одеяле, вытертом дотла,
на черной неприкаянной кровати
мы подружились, и она была
порой нежна и своенравна кстати.
Но бедность, бедность, черствый бутерброд
и голоса соседей через стенку —
ей наплевать, она кривила рот,
презрительно играя в декадентку.
Но почему — играя? Самый ствол,
все то, что потаенно, а не мнимо,
все сны, повадки, чувственность и пол —
все было декадентством в ней, помимо
простонародной силы и ума,
полученных в наследство, точно слепок,
как наша суть, как наша жизнь сама,
от государства первых пятилеток.
Она переметнула шаткий мост
от Незнакомки или Гедды Габлер
сюда, где гений и больной прохвост —
Серж Васюков — почти ее ограбил,
все отобрал — корниловский сервиз
и две картины снес в комиссионку,
и все-таки он продвигался вниз,
торчал, сидел и отрулил в сторонуку.
Не то она. Она взяла свое,
она прошла в газеты и журналы.
Теперь уже французское белье,
загранка, Нотр-Дам и Тадж-Махалы.
Невнятные, но бодрые стихи,
рассказы для детей, инсценировки,
а там, в пятидесятых, — все грехи,
все бездны до последней рокировки.
И все-таки... Я видел, как она
мундштук подносит к вытянутым губкам,
как, мертвенно и траурно бледна,
сидит в застолье и внимает шуткам,

как подбирает на ночь портача
из молодых литературных кадров
и, оживляясь вдруг и хохоча,
предсказывает правду, как на картах.
Ох, декадентка... Боже, Боже мой,
куда все делось, нет ее «Собаки
бродячей», и отметки ножевой
не оставляет Балашов¹ во мраке,
не хлещет портер одичалый Блок,
и Северянин не чудит с ликером.
Закрывается навсегда и под замок
то смутное предчувствие, с которым
когда-то мы вошли и разбрелись,
и все случилось просто и резонно,
и все забыто. И остались лишь
твой жадный смех и твой мундштук, о Нонна!

¹ Некто, изрезавший ножом холст И. Е. Репина «Иван Грозный и его сын Иван» (инцидент имел место в 1912 г.).

НИКОДИМ

Пятидесятый там какой-то год.
Отчалил Сталин. Пионерский лагерь.
Все носят крепдешин и коверкот,
«В стране далекой» — наш любимый шлягер.
И в пионерской замкнутой среде
Является на велосипеде

Соседский мальчик с элитарной дачи.
Он старше на год, он уже не то,
Он мастер бадминтона и лото,
Его во всем преследуют удачи.
И даже воспитательница Ней
К нему внимательнее и нежней,

Чем к прочим детям. Ней Ирэна Львовна,
Француженка, должно быть, по кровям.
Она к нему относится любовно,
Что объяснимо, доложу я вам,
Поскольку Ника, или Никодим,
Красив и в спортигре непобедим.

Разнообразен. Правый край футбола.
Велосипеда гоночного маг.
Он оттесняет всякого, любого
И защищает наш спортивный флаг.
В шестнадцать лет он чемпион района,
Знаток и обитатель стадиона.

И девочки всех четырех отрядов,
От девяти до взрослополовых,
Алмазы в девяносто шесть каратов,
Дурнушки и немного остальных,
Играя в «правду», отвечают: «Ника».
И рдеют, как июльская клубника.

Бег времени по указанью свыше
Неотменяем и неотвратим.
Уже тебя я кандидатом вижу
В науке нашей, мудрый Никодим.
Ему всегда служили аппараты,
Девчонки и спортивные парады.

На дальнем полуострове Чукотка,
Испытывая новый аппарат,
Он здоровеет. Астма и чахотка
Ему не угрожают. Говорят,
Что он не курит, отвернул бутылку,
И только дамы падают в копилку.

Он приезжает в Питер и Москву,
Средь знаменитейших маэстро нежась.
Я видел фото — где-то на мосту
Под ветром, декорирующим свежесть,
Стоит с актрисой студии «Ленфильм»,
Худой, в кожанке...

Вектор изменил

Свой скорый бег на злое торможенье.
И Никодим разгрохал аппарат.
Что сплетни? Идеалов отраженье!
Не виноват он был и, говорят,
Спасти его пытался до минуты,
Когда пришлось накинуть парашюты.

Но, слава Богу, ни тюрьмы, ни смерти.
Он приземлился в тундре на кедрач.
Вы сами-то попробуйте сумеите,
Когда винты обломаны, хоть плачь,
Когда до смерти сорок две секунды
И шансы на спасение паскудны.

Итак, не виноват и виноват.
От дел уволен, доктор и не доктор.
Переезжает в город Ленинград,
Где предлагает атомный реактор
Соединить с турбинным колесом —
И тотчас упадает в грязь лицом,

Поскольку и колеса, и турбины,
Рентген, мартен, пельменный автомат,
Спасение Двуглавой Катарины¹
Не по зубам ему, и говорят —
Он проживает у родного дяди,
Весовщиком работая на складе.

Жена уходит. Впрочем, это дичь.
Он мог бы удержать ее, но сдался,
И даже бывший тесть Сергей Ильич
Не расплевался с ним и не расстался —
Когда-то породнивший их футбол
Семейные раздоры превзошел.

Теперь уже не модные поэты,
И не актрисы смутных варьете...
Он ловит рыбу возле парапета
На Малой Невке. Ходит в бороде.
Пьет пиво и портвейн на вокзале.
И вот что мне недавно рассказали:

¹ Знаменитый собор в Вильнюсе, гордость литовской архитектуры.

Теперь он счастлив. Так покоен он.
Он присмотрелся к жизни и увидел,
Что светский раут, как и стадион,
Как и наука,— суеты обитель,
Набитая удельной пустотой.
Он перестал вздыматься над толпой.

И вот идет он через Чернышев¹,
С рекой Фонтанкой скованный цепями.
От холода синее страшный шов
Через лицо. Холодными тенями
Покрыт воздушный майский Ленинград,
В руках его удилище. Он рад.

Он рад тому, что впереди денек,
Наполненный рыбалкой и «Перцовкой»,
Стоит он, абсолютно одинок,
Перед трамвайной шумной остановкой.
И только очертанья облаков
Свидетельствуют, что и он таков

Когда-то был, как эти очертанья,
Исполненные блеска и хвалы,
Материков, животных очертанья,
Таких, как вепри, леопарды, львы
И прочие геральдики фигуры,
Что далеки от подлинной натуры.

Поскольку в местном зоопарке лев
Жить приказал, колитом околел.

¹ Башенный мост с декоративными цепями в Ленинграде.

* * *

Над морем дождь, над Черным морем дождик,
Вода бежит, мутнея, на песок.
И камушки обкатанные тащит,
И узенькие щепочки несет.

А нам как быть?

Играть в смешные шашки,
Есть персики и слушать патефон,
Вчерашнее припоминая счастье,
Лизать у моря дождик питьевой?

Кричат грузины, выбегают волны,
Выходит девушка небесной красоты.
О господи, достаточно,

довольно —
Ужель так мало ценишь душу ты?



МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ

Иосифу Бродскому

Вступление I

СТАРЫЙ КИНЕМАТОГРАФ

Старый кинематограф —
новый иллюзион.
Сколько теней загробных
мне повидать резон!
Это вот — Хамфри Богарт¹
пал головой в салат.
Только не надо трогать,
ибо в салате яд!
Вот голубая Бергман²
черный наводит ствол.
Господи, не отвергнем
женственный произвол.
Жречествуй, парабеллум,
царствуй вовеки — кольт!
Грянь-ка по оробелым,
выстрел в миллионы вольт!
Ты же хватай, счастливчик,
праведное добро.
Кто там снимает лифчик?
То — Мерилин Монро!³
В старом и тесном зале,
глядя куда-то вбок,

это вы мне сказали:
«Смерть или кошелек!»
Здравствуй, моя отчизна,
темный вонючий зал,
я на тебе оттисну
то, что недосказал,
то, что не стоит слова —
слава, измена, боль.
Снова в луче лиловом
выкрикну я пароль:
«Знаю на черно-белом
свете единый рай!»
Что ж, поднимай парабеллум,
милочка, и стреляй!

Вступ ление II

ПЯТИДЕСЯТЫЕ

Сороковые,
роковые,
совсем не эти, а другие,
война окончена в России,
а мы еще ребята злые.
Шпана по Невскому гуляет,
коммерческий, где «Елисей»,
и столько разных ходит мимо
злодеев или лицедеев.
В глубокой лондонке буклевой,
в пальто двубортном нараспашку,
с такой ухмылкой чепуховой —
они всегда готовы пряжку,
кастет и финку бросить в дело
на Мальцевском и Ситном рынке.
Еще война не прогорела,
распалась на две половинки.

Одна закончена в Берлине,
где Жуков доконал Адольфа,
другая тлеет и поныне
и будет много,

много дольше.

Дойдет и до пятидесятих,
запрячется,

что вор в законе,
и в этих клифтах полосатых
«ТТ» на взводе при патроне.
Они в пивных играют «Мурку»,
пластинки крутит им Утесов,
ползет помада по окурку
их темных дам светловолосых.
Перегидрольные блондинки
сидят в китайском креп-жоржете,
им нету ни одной заминки
на том или на этом свете.
Вот в ресторане на вокзале
кромешный крик, летит посуда,
бандитка с ясными глазами
бежит,

бежит,

бежит оттуда

и прячет в сумку полевую
трофейный верный парабеллум,
ее, такую боевую,
не схватишь черную на белом.
И это все со мной случилось
и лишь потом во мне очнулось,
в какой-то бурый дым склубилось
и сорок лет спустя вернулось.

Я вижу лестницу витую
на Витебском и Царскосельском.
Не по тебе одной тоскую —
еще живу в том свете резком.

Вступление III
ПОЛЧАСА ДО ТЕМНОТЫ

Полчаса до темноты —
вот теперь давай на «ты»!
Щекоти намокшим мехом
в полусвете полудня.
Я пошарю по прорехам,
не отталкивай меня.
Здесь под балкой потолочной
темный царствует ремонт,
мимо нас туман проточный
проскользнул за Геллеспонт.
Если будем вечно живы,
то отправимся в Стамбул.
Там оливы

и проливы —
сокол их перепорхнул.
В голубой весенней юбке
ты закажешь коньяка,
все туманные поступки
проясняются слегка.
И тогда под минаретом
мы припомним этот день,
ежели тебе при этом
будет вспоминать не лень
той разрухи капитальной
коммунальный коридор,
поцелуй,
почти опальный,
и укромный разговор.
Как с тобой легко и жутко,
что ж ты смотришь сверху вниз?
Поднеси поближе шубку,
расстегнись

и отвернись.

ТРИНАДЦАТОЕ НОЯБРЯ

Я долго прожил за «Аттракционом»
в Четвертом Барыковском переулке
в Замоскоречье возле Пятой ТЭЦ.
Что значит долго? Просто девять лет.
И вот пошли отчаянные слухи,
что дом наш непременно забирают
под неопределенную контору.
Никто не верил. Вышло — точно так!
Я переехал и забыл про это.
Так что хочу тебе я рассказать?
Что кто-то там ведет свою таблицу
коварного слепого умноженья
и шулерски стасовывает карты,
чтобы потом подкинуть их в игру,
и, выиграв, залиvisto хохочет.
Вот и сегодня, о, совсем случайно,
я позвонил тебе после полудня
и предложил пойти куда угодно
часа в четыре,

а куда пойдешь?

Туман и мокрый снег Москву накрыли,
так отвратительно печальны рестораны,
где туго с водкой, круто с коньяком.
А выставки? Что надо — мы видали,
а прочее и видеть не хотим.
Пойдем в кино? Конечно! А куда же!
Там хорошо, там пряники в буфете,
разбавленный, слегка прокисший сок.
Тогда уж встретимся в «Аттракцион»,
днем там пустыня, вот и хорошо.
— Ты видел этот фильм? — спросила ты.
— Да, видел, — я ответил, — но не стану
разоблачать сюжет, погибнет тайна,
словечко лишнее — и кончен интерес.

А впрочем, чушь, великие актеры,
да и кино... там не в сюжете суть.

А что касается меня,

я так люблю

Америку годов пятидесятих, сороковых —
мужчины в темных шляпах,

двубортные костюмы, «кадиллаки»,

тяжелые, что ступки, телефоны,

ковры, отели, гангстеры с кобурой

под левой мышкой — что за красота!

Какой она была — никто не знает,

что стало с ней — придумал Голливуд,

а называется кино «Мальтийский сокол»⁴.

И этот фильм я видел двадцать лет

тому назад, и не поверишь где —

в двухкомнатной квартире на Ордынке...

Там жил, а ныне выехал надолго

на кладбище Немецкое один

теперь совсем забытый человек

по имени Викентий Тимофеев.

Был у него домашний кинотеатр...

— Да ты все врешь...

— Вру, но не все, послушай...

Когда-то в молодости он служил в посольстве

киномехаником и получил в подарок

проекторный аппарат и три-четыре ленты,

среди них и «Серенаду солнечной долины»,

по коей мы тогда с ума сходили,

три фильма Чаплина — «Диктатора», «Огни...»

и «Золотую лихорадку» — самый

великий фильм на свете, и еще

вот этот фильм «Мальтийский сокол».

Викентий Тимофеев, когда я знал его,

чудил в литературе, правил бал.

Он далеко ушел из кинобудки,

стал основателем журнала «Детский сад»,

Там жил и я, глядел кино и басни
рассказывал в распаренном застолье,
крутили эти фильмы день и ночь...
Но Чаплин — что ж! Он — классика, а этот —
«Мальтийский сокол» — рядовой шедевр.
Но почему-то он запал мне в душу,
и полистал я старые книжонки
и раскопал, откуда все пошло.
Гроссмейстер Ордена Мальтийского когда-то
в знак преданности в Рим отправил Папе
фигурку птицы, ясно, золотую.
Но в золоте ли дело? Дело в том,
что в это золото оправили такие
рубины, изумруды и алмазы,
что даже Папа ахнул, прочитав
письмо Гроссмейстера (пергамент сохранился).
Но птица до святейшего престола
не долетела. — Но была она на самом деле?
— Да была. Была! Я думаю, Гроссмейстер
не стал бы Рим дурить.
И все, что он писал про эти камни,
все было правдой. И к тому же
мальтийский адмирал признался,
что выкупил себя и всю команду
вот этим соколом, когда его эскадра
(три корабля) попала к туркам в плен.
Но все это историкам известно,
а дальше романист присочинил,
что, дескать, объявился он в России,
добрался до Орлова Алексея...
В романе сказано, что правнук Алексея,
а вместе с ним и сокол объявились
в Крыму при Врангеле, потом Стамбул,
Париж... Об этом и проведала компашка
авантюристов, рыскавших по свету,
ну, предыстория была им безразлична,

но сокола они добыть решили
и переправить через океан.
Тут, может, я сбиваюсь, так давно
я все это увидел, и время действия,
быть может, сорок первый иль
около, когда союзники
среди нормандских пляжей
сто тысяч положили под стволы
немецких раскаленных пулеметов,
гораздо раньше, чем Георгий Жуков
пробился к райху и занес приклад
над головой с непобедимой челкой.
Тогда-то вот в Нью-Йорке частный сыщик
(играет Богарт) предложил клиентке
прекрасной, словно ангелы распутства,
свои услуги (это — Ингрид Бергман).
Клиентка молча выписала чек,
и дело завертелось...

Вроде кто-то ее преследовал.
И в этот самый день, вернее, вечер
помощник детектива был застрелен
в густом тумане около реки.
Полиция решила — это сыщик убрал собрата,
но сыщик никого не убивал.
Его подставила и чуть не погубила
та самая клиентка. Вот она
как раз охотилась за соколом мальтийским,
и этот сыщик стал ей поперек. Случайно —
он и сам не знал об этом.
Запутанный сюжет, потом поймешь.
Кончай свой кофе, закрывают зал,
не то мы опоздаем...

.....
Здесь пропускаю ровно два часа...

.....
Стемнело, а туман еще сгустился.

— Пойдем подышим сумрачным преддизимьем и, кстати, посетим мой переулок, тот самый, тот, Четвертый Барыковский, я не бывал здесь года полтора. Вот церковь обойдем, и сразу будет тот дом, где бедовал я девять лет. Ну что, кино понравилось? — Да, очень! — Ты понимаешь, это сказка, особенно для нас, Шехерезада, но что-то бродит в ней на самом дне, какой-то образ, символ и намек... — Ты объясни — какой?.. — Ты помнишь кадр: помощник детектива в тумане ждет кого-то... Мы понимаем по его лицу, что этот человек ему знаком и он не опасается его.

Но главное — туман, густой туман и люди — точно рыбы через воду...

Вот крупное лицо усталой жертвы в намокшем барсалино набекрень.

И вдруг мы видим, как в туман вползает неотвратимо ясный револьверчик...

...И покатилося барсалино быстро в тумане роковом, потом пропало...

— Я поняла тебя. Да, это главное, здесь ось, вокруг нее и вертится вся лента...

— Постой, а где же мой старинный дом? Дом был на месте, только на ремонте.

— Пойдем посмотрим, что там натворили.

— Пойдем посмотрим... Вроде повезло, не слишком дело двинулось у них, еще не сломаны полы и перекрытья, и двери не забиты... Так зайдем же...

— Зайдем, зайдем... — А вот моя квартира на семь жильцов, теперь она пуста,

вот комната на первом этаже.

А под окном стоял жасмин могучий,
и был он украшением бедной жизни
все девять лет.

Жасмин они срубили.

Ремонт, неразбериха, переделка.
Паркета нет, но есть еще обои
и крюк с лепниной, на котором долго
покачивался абажур — его я перевез
из Ленинграда, из довоенных лет,
он видел маму и отца, убитого под Нарвой,
блокаду выдержал... Так, не споткнись,
я спичкой посвечу. Ты не находишь,
что-то есть такое,

задуманное на далеком небе,
что мы попали в эту вот квартиру,
разбитую туманную пещеру?

— Конечно, нахожу. Но так бывает
всегда, они следят за нами
и подбирают крап на узких картах
и мечут без ошибки их на стол.

— Теперь послушай: я люблю тебя,
люблю давно, с той самой глупой встречи,
в том суетливом тягостном дому.

Ты знаешь ведь, что я в виду имею?

— Конечно, знаю...

— Я глядел, глядел и отводил глаза...

— А было все нестрашно...

— Я думаю, что было все непросто.

— Ну, это чепуха, твои химеры!

— Химеры-то как раз не чепуха,
как налетят, как на постель присядут
и все лопочут: ша-ша-ша-ша-ша!

— Но что-то есть полезное в химерах,
видать, они в свойстве с мальтийской птицей,
они, быть может, и наклевали ее?

— Пожалуй, слишком просто...

— Слишком сложно...

— Пойди сюда, сними свою шубейку,
тут был крючок на стенке,
вот он, цел! Смотри, какой туман,
как фонари сюда плывут пустым жемчужным светом,
как бродят тени плавниками
зелеными на этом потолке...

— Что будем делать?

— Будем жить, как прежде,
ну, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть иначе.
Большие перемены ни к чему.

— Нас не запрут в твоём фамильном склепе?
Там кто-то бродит под дверьми и как-то
металлом угрожающе звенит.

— Да нет, пустое, это слесарь или
ремонтник что-то подбирает,
снесет народу и стакан получит
свежайшего родного самогона.

— Как сыро, я бы выпила глоток...

— Нет ничего. Вот только сигареты.

— Я не курю...—

Мы вышли на бульвар, и я подумал:
два сеанса птицы

отрезали от жизни двадцать лет...

И был еще один туманный день когда-то...

Стоял я около реки Фонтанки и ждал жену,
и подошла жена. Я заломил покрасивее шляпу,
тогда еще носили шляпы, и было это там,
где Чернышев сковал цепями башни над водою.

А жизнь катилась по своим ухабам,
не шатко и не валко...

Я зарабатывал чуток на «научпопе»,
в журналах детских... Радио, бывало,
передавало очерк иль куплет,
что добавляло роскоши и неги:

поездка на такси, поход на «крышу»
ресторана «Европейский»
и туфли для жены из венской кожи,
и этого вполне, вполне хватало.
А рядом были добрые друзья —
художники, геологи, поэты,
и у иных достаток был скромнее —
все это мало волновало нас.
Мы собирались в кинотеатр «Аврора»,
и до начала было семь минут.
— Пора, пошли, не то сеанс пропустим.
— Постой минутку, дай я покурю,—
жена сказала. Сумочку открыла,
размяла сигарету и затем
австрийскую достала зажигалку,
такой изящный черный пистолетик,
игрушку, привозную ерунду.
И я увидел вдруг, как зажигалка
потяжелела, вытянулся ствол,
покрылась рукоять рубчатой коркой,
зрачок мне подмигнул необъяснимо...
Я не услышал выстрела, я был
убит на месте, стукнулся башкою
о полустертый парапет моста, а шляпа
полетела вниз в мазутные потоки
и поплыла куда-то в Амстердам.
Очнулся я в Москве спустя три года
и долго ничего не понимал...
Потом сообразил — *мальтийский сокол* —
вот где разгадка, все его проделки...
.....
Бульвар московский забирался в гору
и выводил к заброшенному скверу,
затиснутому в тесноту Таганки,
затем спускался круто вниз к реке.
— Присядем здесь, немного я устала.

— Ты знаешь, если забрести в тот угол,
то там стоит какой-то старый чертик,
какой-то мрамор, может быть, остаток
усадьбы старой. Я всегда хотел
поразузнать о нем, но всё заботы,
все недосуг, а впрочем, как у всех;
а я его давным-давно заметил.
Но час настал — пойдем и разберемся.
— Пойдем и разберемся — час настал!
— Вообще я помню что-то в этом роде
у нас в дворцовых парках Петербурга,
но как-то поантичнее, получше.
А здесь-то, видимо, была усадьба
московского дворянчика, купчишки,
и он купил дешевую подделку
в каком-нибудь Неаполе лет сто тому назад.
— Да, вот она. А что все это значит?
— Вот видишь, дама, бывшая красотка,
не первой свежести, но все же хороша.
Приятная фигурка, ножки, грудки —
все так уютно, как у Ингрид Бергман.
Она смотрит таким туманным взором,
доверчивым, открытым, дружелюбным
и обещающим полулюбовь и полу...
А рядом — это символы ее.
Здесь на плече была, пожалуй, птица,
но только голову ее отколотили,
а под рукой у дамы некий ящик,
и что-то в нем нащупала она.
(Ты помнишь, ящик был и у Пандоры.)
И надпись есть на цоколе замшелом,
ведь это аллегория, должно быть...—
Внезапно спутница моя сказала,
не вглядываясь даже в эти буквы:
— Я, пожалуй, знаю. На нем написано
«Ля традиненто», по-итальянски —

черная измена, обдуманное тайное коварство...
— Ну и ну!.. Откуда же тебе известно это?
Ты здесь бывала? — Что ты, никогда.
Но нам известно. Это «коза ностра»⁶. —
Туман, туман над всем московским небом,
в тумане вязнет куртка меховая
и челочка разбухшая твоя.
Туман бледнит парижскую помаду,
развеивает запахи «Мицуки»
и чем-то ленинградским отдает,
тем самым стародавним, позабытым...
— Ну что, пора? — спросил я.
— Да, пожалуй, сегодня было очень хорошо. —
Через туман глядел я ей вослед,
расчетливо раскачивая бедра,
в распахнутой пушистой лисьей куртке,
и лайковая сумка на ремне.
И вот перед последним поворотом
она через туман кивнула мне,
как заговорщица — почти неразличимое лицо, —
овальный циферблат моей надежды показывал
ноль-ноль часов одну минуту...
Невежда, полузная, знаю я:
пифагорейцы точно рассудили,
что вечен круг преображенья жизни.
Но в человеческой судьбе загадка есть,
какой-то повторяющийся образ —
попробуй-ка его уразумей.
И то, что нам показывал Викентий
на рваной простыне, когда она
от выстрела в затылок прогорела, —
всего лишь детективный эпизод
чужого фильма... Или нет, не только.
А впрочем, пифагорейская все это чепуха...
Поскольку ход судьбы непредсказуем,
то произвол творит мальтийский сокол,

бессмысленно петляет он, и все же
всегда свое гнездо находит он⁷.

.....

Да, Аристотель прав, сей сокол божество:
ему готовится повсюду торжество*.

* Последнее двустишие есть парафраза стихотворения Батюшкова:
Все Аристотель врет! Табак есть божество:
Ему готовится повсюду торжество.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Богарт Хамфри (1899—1957) — знаменитый американский киноактер, в основном создававший образы героико-романтического характера, много снимался в гангстерских и детективных фильмах.

² Бергман Ингрид (1926—1962) — знаменитая киноактриса, шведка по национальности, играла многоплановые, психологически загадочные роли.

³ Монро Мерилин (1926—1962) — выдающаяся киноактриса и «секс»-звезда. В 50-е годы стала одним из национальных символов США. В фильме «Мальтийский сокол» не участвует.

⁴ «Мальтийский сокол» — фильм режиссера Джона Хьюстона. Вышел на экраны в 1941 г. В основу фильма положен детективный роман американского писателя Дашиела Хеметта.

⁵ Чернышев мост в Ленинграде — башенный мост с декоративными цепями.

⁶ «Коза Ностра» — «Наше дело» (*итал.*) — название одной из крупнейших американских мафий. Здесь употреблено в шуточном смысле.

⁷ Автору прекрасно известно, что главную роль в реальном фильме играет не И. Бергман, а М. Астор. Однако поэтическая специфика заставила автора в поэме подменить одну актрису другой.

МАСТЕРСКАЯ

С. Р.

В большой пустой мастерской
на улице Малой Морской
у милого друга в гостях
я жил, а он второпях
отозван был в худсовет.
Я мрачно жевал обед.

Двенадцать оконных рам
с цветным стеклом пополам
смешивали свет дневной
над моей головой.
И был я тих, одинокий,
и ни один звонок
не потревожил меня
до исхода дня.

Только безумный дождь
все шелестел, что хвощ,
и рисовал разрез
всех сорока небес.
То, расплывчато-ал,
переполнял бокал,
то, сиренево-хмур,
раскачивал абажур.

А я все глядел в окно,
и стало совсем темно,
и что-то плело наугад
дождика веретено.
Среди цветного стекла
выступила голова
размытая и сказала
неясные мне слова:

«Мы ждали тебя, дружок,
мы знали — ты будешь здесь.
Когда-нибудь весь кружок
увидишь, сейчас — не весь,
поскольку у нас дела
на разных концах небес».
И снова струя текла
и билась о мой навес.

Расплющенным серебром
дождь пасмурный колдовал:
«О чем вы, о чем, о чем,
о чем вы?» Но я-то знал,
что здесь накопился мрак,
что демоны всех мастей
в холстах и среди бумаг
поддавливают гостей.

Что в том вот темном углу
стоит антрацит-рояль.
Какую еще хулу,
какую еще деталь
извергнуть и описать?
Он сел, приодернул фрак...
Хочу вперед забежать,
но только не знаю — как.

Когда он уйдет к себе,
взлетит через сто стропил,
оставит очки в трубе,
помнет оперенье крыл,
я сразу узнаю, кто
такой он в жизни живой.
Но, как говорил Кокто:
«Размешивай все водой!»

Поскольку и кровь, и нефть,
и краска, и чистый спирт
явились на белый свет
не так, чтоб их просто пить.
А нужен должный раствор —
тогда и взалкают их!
Зачем я болтаю вздор?
Зачем пианист затих?

Квадратным своим лицом
на клавиши он упал,
стократно своим кольцом
по дереву он стучал.
Был это условный знак,
масонский, а может — нет.
И в худшей из передряг
бывают конец и свет.

Поскольку я подписал
все то, что он мне сказал,
и подпись горячей свечой
на воздухе начертал.
И вдруг проступил закат,
и кончился темный дождь,
и край небес свысока
явил багровую мощь.

И город мой просиял
последним ярким цветком.
Но это я прозевал,
поскольку заснул тайком.
Явился хозяин мой,
закончился худсовет,
и даже принес домой
румынский ром «Кабинет».

Мы выпили по сто грамм,
включили телеэкран,
со всех четырех программ
вопил Франсуа Легран.
Парижский простой певец,
он был такой молодец,
такой эlegantный стервец,
такой талант, наконец.

ШЕСТОЕ МАЯ

За десять лет два раза — тот же день,
шестого мая, было воскресенье.
Медовая московская сирень,
лиловое густое сновиденье
мотались на углах. На телеграф
зачем-то шел я, стиснутый народом,
и вдруг нос к носу... И она, задрав
свой горборимский, ибо шла с уродом,
какой-то смесью чушки и хорька,
и потому особенно надменна.
Хотя нам было с ней наверняка
о чем поговорить. Одновременно
пролить слезу на теплый тротуар
шальной Москвы, пустой, как все столицы
в воскресный день. И ветер продувал
Тверскую и не мог уgomониться.
Он нес пустые пачки «Мальборó»,
сиреневые гроздья, чьи-то письма...
О жизнь, ты возникаешь набело,
как из души прорвавшаяся песня.
Ты возникаешь наугад, впотьмах,
где ищешь выключатели на ощупь.
Ну вот и окна вспыхнули в домах,
мы двинулись на Пушкинскую площадь.
Она была подругой двух друзей
в иных местах и временах... когда-то.
Ее белье пора продать в музей,
и, я ручаюсь, воздадут богато.

Все это было в лучшей из систем,
где ипокрена бьет на черном хлебе.
Зачем, я вопрошаю вас, зачем
и почему? И что всего нелепей —
остались оба, в общем, в дураках.
Не для того ль она, дохнув шампанским,
сирень перебирала на руках
здесь, на Тверской, с каким-то иностранцем?
Который, впрочем, был здесь не у дел,
на выставках чего-то там наладчик.
Из-за чего ж, дружок, ты погорел,
мой ученик, мой гениальный мальчик?
Из-за чего нешуточный свой дар
принес другой на сей алтарь грошовый?
И здесь уже кончался тротуар,
и начинать им не хотелось новый.
Я видел, как они вошли в такси
и «Волга» побежала по бульварам.
Кончаю — ни смущенья, ни тоски,
ни ругани — и все-таки недаром...
Ведь что-то было. Что-то, хоть слеза,
хоть полсловечка, дырочка в перчатке.
Я повернул блудливые глаза —
из телеграфной двери, из тройчатки
процеживались словно в решето
пестрейшие приезжие пижоны,
и булькала толпа у ВТО,
синя в джинсовне на все фасоны.
Шестое мая — день известный встарь,
пятнадцать лет назад он много значил.
День ангела жены. Но календарь,
как водится, его переиначил.

* * *

Чего мне ждать? Работы побогаче,
другой жены? И эта хороша.
Ах, лета, лета. Скоро будет лето.
Гляди, уже кончается февраль.
Моя душа — смешная ротозейка.
Она хотела, чтобы я словчился
и стал (какой бы привести пример)
фотографом на пляже, на Таити.
Кругом меня гогеновская слава,
и объектив мой славен, как орел.
Я из лотка неплотную пил воду
в краю, где океан полураспада,
ел рыбу ту, она вкуснее нашей,
ухаживал за лошадьё, служил.
Потом бывал в других местах на юге,
на севере, в Сибири и в Москве.
Я пиво пил из белого стакана
на крепкой облупившейся веранде.
На столике холодные закуски,
кругом деревья, улочки, девицы,
а в садиках — чудные монументы.
Так мило, так приятно все кругом.
Теперь нельзя мне выйти пополудни,
пойти к Неве, подумать: все напрасно,
напрасно все — но в переменах суть.
О скольком я уже не беспокоюсь,
а может, это временный покой?

Не часто, нет, но разное я видел,—
такие страхи, подвиги, слиянья;
и это все со мной происходило,
и, кажется, не изменился я.
Любовь осталась на моей постели,
мои долги остались на работе,
а смерть моя — у матери моей.
И ангелы, летучие, как мыши,
не верь, не верь, а сахар им кроши.
Но дальше невозможно разбираться,
осталось перечислить все отдельно
в любом порядке.
Хоть в таком порядке —
алфавита или календаря.

АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ

Ангел мой, истребитель,
Через десять минут наш полет.
Кто-то свой проявитель
На воздушную пленку прольет.
В нидерландской короне
Из канала глядел ты туда,
Где доньне в глухой обороне —
Наша истина, наша беда.
Вот моторы готовы,
На турбинах горит керосин,
Вознеси меня над Комарово
И спикируй над ним, господин.
Там, на кладбище малом,
Там, где Анна, Володя, Илья,
За другим перевалом
Должен быть похоронен и я.
Но покуда, покуда
Я не кончил большого труда,
То ни Понтий, ни даже Иуда
Мне, увы, не опасны. О да!
Ангел мой, истребитель,
Мой растлитель, товарищ, двойник,
Ты — письмо, это я — отправитель,
И поэтому слишком приник
К этим крыльям и этой кабине
И так дико ору в шлемофон...
В небесах, на твоей половине
Я — как ты, и к тому же — грифон.

Потому что однажды
Я, дружок, оторвусь от тебя
И над Андами жажды
Атакую, тебя истребя,
Твой пробью алюминий,
Оборву неизбежный полет,
На моей половине
Это только запишут в зачет.
Словно летчик Гастелло
Ты падешь на проклятый земшар.
Выше духа и дела —
Истребление, гибель, пожар.

АЛМАЗЫ НАВСЕГДА

Ю. Нагибину

Я двадцать лет с ним прожил через стенку
в одной квартире около Фонтанки,
за Чернышевым башенным мостом.
Он умер утром, первого числа...
Еще гремели трубы новогодья,
последнее шампанское сливалось
с портвейном в измазанных стаканах,
кто полупил, кто полуспал, кто тяжело
тащился по истоптанному снегу...
А я был дома, чай на кухне пил —
и крик услышал, и вбежал к соседу.
Вдова кричала... Мой сосед лежал
на вычурной продавленной кровати
в изношенной хорьковой телогрейке
и, мертвый, от меня не отводил
запавшие и ясные глаза...
Он звался Александр Кузьмич Григорьев.
Он прожил ровно девяносто два.
А накануне я с ним говорил,
на столике стоял граненый штофчик,
и паюсной икры ломоть на блюде,
и рыночный соленый огурец.
Но ни к чему сосед не прикоснулся.
«Глядеть приятно, кушать — не хочу, —
сказал он мне. — Я, Женя, умираю,
но эту ночь еще переживу».

«Да что вы, что вы! — закричал я пошло. —
Еще вам жить да жить, никто не знает...»

«Да тут секрета нет, в мои года», —
ответил он, ко мне придвинув рюмку...

Я двадцать лет с ним прожил через стенку,
и были мы не меньше чем родня.

Он жил в огромной полутемной зале,
заваленной, заставленной, нечистой,
где тысячи вещей изображали
ту Атлантиду, что ушла на дно.

Часы каретные,

настольные,

стенные,

ампирные литые самовары,
кустарные шкатулки, сувениры
из Порт-Артура, Лондона, Варшавы
и прочее. К чему перечислять?

Но это составляло маскировку,
а главное лежало где-то рядом,
запрятанное в барахло и тряпки
на дне скалоподобных сундуков.

Григорьев был брильянщиком —
я знал давно все это. Впрочем,
сам Григорьев и не скрывался —
в этом вся загадка...

Он тридцать лет оценщиком служил
в ломбарде, а когда-то даже
для Фаберже оценивал он камни.

Он говорил, что было их четыре
на всю Россию: двое в Петербурге,
один в Москве, еще один в Одессе...

Учился он брильянтовому делу
когда-то в Лондоне, еще мальчишкой,
потом шесть лет в Москве у Костюкова,
потом в придворном ведомстве служил —
способности и рвенье проявил,

когда короновали Николая
(какие-то особенные броши
заказывал для царского семейства),
был награжден он скромным орденом...
В столицу перевелся, там остался...
Когда же его империя на дно переместилась,
пошел в ломбард и службы не менял.
Но я его застал уже без дела,
вернее, без казенных обстоятельств,
поскольку дело было у него.
Но что за дело, мудроно понять.
Он редко выходил из помещенья,
зато к нему все время приходили,
бывало, что и ночью, и под утро,
и был звонок условный (я заметил):
один короткий и четыре длинных.
Случалось, двери открывал и я,
но гости проходили как-то боком
по голому кривому коридору,
и хрена ли поймешь, кто это был:
то оборванец в ватнике пятнистом,
то господин в калошах и пальто
доисторическом, с воротником бобровым,
то дамочка в каракулях, то чудный
грузинский денди... Был еще один,
пожалуй, чаще прочих он являлся.
Лет сорока пяти, толстяк, заплывший
ветчинным нежным жиром, в мягкой шляпе,
в реглане, с тростью. Веяло за ним
неслыханным чужим одеколоном,
некуренным приятным табаком.
Его встречал Григорьев на пороге
и величал учтиво: «Соломон Абрамович...»
И гость по-петербургски раскланивался
и ругал погоду...

Бывал еще один:

в плаще китайском, в начищенных ботинках, черной кепке, в зубах зажат окурок «Беломора», щербатое лицо, одеколон «Гвардейский».

Григорьев скромно помогал ему раздеться, заваривал особо крепкий чай...

Был случай лет за пять до этой ночи:

жену его отправили в больницу, вдвоем остались мы. Он попросил купить ему еды и так сказал:

«Зайдешь сначала, Женя, к Соловьеву¹, потом на угол в рыбный, а потом в подвал на Колокольной. Скажешь так: «Поклон от Кузьмича». Ты не забудешь?» — «Нет, не забуду».

Был я поражен.

Везде я был таким желанным гостем, мне выдали икру и лососину,

салями и охотничьи сосиски,

телятину парную, сыр «Рокфор»,

мне выдали кагор «Александрит»,

который я потом нигде не видел,

и низкую квадратную бутылку

«Рябина с коньяком», и чай китайский...

Все это так приветливо, так быстро,

и приговаривали: «Вот уж повезло —

жить с Кузьмичом... Поймите, что такое,

старик великий, да, старик достойный...

Уж вы похлопочите, а за ним уж не заржавеет...»

О чем они? Не очень я понимал...

Он сам собрал на стол на нашей кухне,

поставил он поповские тарелки,

приборы хлебникова серебра...

(Он кое-что мне объяснил, и я немного разобрался, что почем тут.)

¹ Герой называет гастроном по имени его бывшего владельца.

Мы выпили по рюмочке кагора,
потом «рябиновки» и закусили...
Я закурил, он все меня корил
за сигареты: «Вот табак не нужен.
Уж лучше выпивайте, дорогой».
Был летний лиловатый нежный вечер,
на кухне нашей стало темновато,
но свет мы почему-то не включали...
«Вы знаете ли...— Он всегда сбивался,
то «ты», то «вы», но в этот раз на «вы».—
...Вы знаете ли, долго я живу,
я помню Александра в кирасирском
полковничьем мундире, помню Витте —
оценивал он камни у меня.
Я был на коронации в Москве,
я был в Мукдене по делам особым
и в Порт-Артуре, и в Китае жил...
Девятое я помню января,
я был знаком с Гапоном, так, немного...
Мой брат погиб на крейсере «Русалка».
Он плавал корабельным инженером,
мой младший брат, гимназию он кончил,
а я вот нет — не мог отец осилить,
чтоб двое мы учились. А когда-то
Викторию я видел, королеву,
тогда мне было девятнадцать лет.
В тот год, вот благородное вам слово,
я сам держал в руках Эксельсиор...¹
Так я о чем? В двадцать шестом году
я был богат, имел свой магазинчик
на Каменноостровском, там теперь химчистка,
и даже стойка та же сохранилась —
из дерева мореного я заказал ее,
и сносу ей вовек не будет...

¹ Один из самых больших и знаменитых алмазов мира.

В тридцать втором я в Смольном побывал.
Сергей Мироныч вызывал меня,
хотел он сделать женщине подарок...
Вникал я в государственное дело...
Куда все делось? Был налажен мир,
он был устроен до чего толково,
держался на серьезных людях он,
и не было халтуры этой... Впрочем,
я понимаю, всем не угодишь,
на всех все не разделишь, а брильянтов —
хороших, чистых, — их не так уж много.
А есть такие люди — им стекляшка
куда сподручней... Я не обижаюсь,
я был всегда при деле. Я служил.
В блокаду даже. Знаете ль, в блокаду
ценились лишь брильянты да еда.
Тогда открылись многие караты...
В сорок втором я видел эти броши,
которые мы делали в десятом
к романовскому юбилею.

Так-с!

Хотите ли, дружок, прекраснейшие запонки,
работы французской, лет, наверно, сто им...
Я мог бы вам их подарить, конечно,
но есть один закон — дарить нельзя.
Вы заплатите сорок пять рублей.
Помяните потом-то старика...»
Я двадцать лет с ним прожил через стенку,
стена, нас разделявшая, как раз
была не слишком, в общем, капитальной —
я слышал иногда обрывки фраз...
Однажды осенью, глухой и дикой,
какой бывает осень в Ленинграде,
явился за полночь тот самый, с тростью,
ну, Соломон Абрамыч, и Григорьев
его немедленно увел к себе.

И вдруг я понял, что у нас в квартире еще один таится человек.

Он прячется, наверное, в чулане, который был во время оно ванной, но в годы пятилеток и сражений заглох и совершенно пустовал.

Мне стало жутко, вышел я на кухню и тут на подоконнике увидел изношенную кепку из букле.

Тогда я догадался и вернулся и вдруг услышал, как кричит Григорьев, за двадцать лет впервые он кричал:

«Где эти камни? Мы вам поручали...»

И дальше все заглохло, и немедля загрохотал под окнами мотор.

Вдруг появилась женщина без шубы, та самая, что в шубке приходила, она вбежала в комнату соседа, и что-то там немедля повалилось, и кто-то коридором пробежал, подковками царапая паркет, и быстро все они прошли обратно.

Я поглядел в окно, там у подъезда качался стосвечовый огонек дворовой лампочки. Я видел, как отъехал полузаметный мокренький «Москвич», куда толстяк вползал по сантиметру...

Вы думаете, он пропал?

Нисколько.

Он снова появился через год.

.....
И вот в Преображенском отпеванье.

И я в морозный лоб его целую на Сестрорецком кладбище. Поминки. Пришлось побывать мне на поминках, но эти не забуду никогда.

Здесь было не по-русски тихо,
по-лютерански трезво и толково,
хотя в достатке крепкие напитки
собрались на столе.

Среди закусок
лежал лиловый плюшевый альбом —
любил покойник, видимо, сниматься.
На твердых паспарту мерцали снимки,
картинки Петербурга и Варшавы,
квадратики советских документов...

Здесь был Григорьев в бальной фрачной паре,
здесь был Григорьев в полевой шинели,
здесь был Григорьев в кимоно с павлином,
здесь был Григорьев в цирковом трико...

Вот понемногу стали расходиться,
и я один, должно быть, захмелел,
поцеловал вдове тогда я руку,
ушел к себе и попросил жену
покрепче приготовить мне чайку.

Я вспомнил вдруг, что накануне этих
событий забежал ко мне приятель,
принес журнал с сенсацией московской,
я в кресло сел, и отхлебнул заварки,
и развернул ту дьявольскую книгу,
и напролет всю ночь ее читал...

Жена спала, и я завесил лампу,
жена во сне тревожно бормотала
какие-то обрывки и обмолвки,
и что-то по-английски, ведь она
язык учила где-то под гипнозом...

И вот под утро он вошел ко мне,
покойный Александр Кузьмич Григорьев,
но выглядел иначе, чем всегда.

На нем был бальный фрак,
цветок в петлице,
скрипел он лаковыми башмаками,

несло каким-то соусом заgrabным
и острыми бордельными духами.
И он спросил: «Ты понял?» Повторил:
«Теперь ты понял?» — «Да, теперь конечно,
теперь уж было бы, наверно, глупо
вас не понять. Но что же будет дальше?
И вы не знаете?» — «Конечно, знаю.
подумаешь, бином Ньютона тоже!» —
«Так подскажите малость, что-нибудь!» —
«Нельзя подарков делать, понимаешь?
Подарки — этикетки от нарзана.
Ты сам подумай, только не страшись».
Жена проснулась и заснула снова,
прошел по подоконнику дворовый,
немного мной прикармливаемый кот,
он лапой постучал в стекло,
но так и не дождался подаянья,
и умный зверь немедленно ушел.
Тогда я понял: все произошло,
все было и уже сварилась каша,
осталось расхлебать все, что я сунул
в измятый кособокий котелок.
В январский этот час я знал уже,
что делал мой сосед и кто такие
оплывший Соломон в мягчайшей шляпе,
кто женщина в каракулевой шубе
и человек в начищенных ботинках,
зачем так сладко спит моя жена,
куда ушел мой кот по черным крышам,
что делал в Порт-Артуре, Смольном,
на Каменноостровском мой брильянтик,
зачем короновали Николая,
кто потопил «Русалку», что задумал
в пустынном бесконечном коридоре
отчисленный из партии товарищ,
хранящий браунинг в чужом портфеле...

И я услышал, как закрылась дверь.
«Григорьев! — закричал я. —
Как мне быть?» — «Никак, все так же,
все уже случилось. Расхлебывай!»
И первый луч рассвета
зажегся над загаженной Фонтанкой.
«Чего ж ты хочешь, отвечай, Григорьев?!» —
«Хочу добра! — вдруг прокричал Григорьев. —
Но не того,

что вы вообразили, —
совсем иного.

Это наше дело.

Мы сами все затеяли когда-то,
и мы караем тех, кто нам мешает.
По-нашему все будет все равно!» —
«Так ты оттуда? Из такой дали?» —
«Да, я оттуда, но и отовсюду...»
И снова постучал в окошко кот,
я форточку открыл, котлету бросил...
И потому что рассвело совсем,
мне надо было скоро собираться
в один визит, к одной такой особе.
Напялил я крахмальную рубашку,
в манжеты вдел запонки,
что продал мне Григорьев,
и галстук затянул двойным узлом...
Когда я вышел, было очень пусто,
все разошлись с попоек новогодних
и спали пьяным сном в своих постелях,
в чужих постелях,

на вагонных полках,
в подъездах и отелях, и тогда
Григорьева я вспомнил поговорку.
Сто лет назад услышал он ее,
когда у Оппенгеймера в конторе
учился он брильянтовому делу.

О, эта поговорка ювелиров,
брильянщиков, предателей,
убийц из-за угла и шлюх шикарных:
«Нет ничего на черном белом свете.
Алмазы есть. Алмазы навсегда!»

1984

ВОСПОМИНАНИЯ В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ СЕЛЕ

Где Петр собирал потешные полки,
Где управдом Хрущев унизил потолки,
В Преображенском я кончаю дни свои,
И никуда меня отсюда не зови.
Не будет ничего, не надо никогда,
Стоит перед окном апреля нагота,
У входа в магазин так развезло газон,
Когда я подхожу, знакомый фармазон
Спешит мне предложить вступить в триумвират.
Выходит — надо жить, не стоит умирать.
Так сыро, так темно, так скоро жизнь прошла...
Когда случилось все? Которого числа?
А свет под фонарем лупцует по глазам,

И поздно злобный вой отправить небесам.
Когда петровский флот со стапеля сходил
И наливался плод от европейских жил,
Державин громоздил, а Батюшков хандрил,
Какой подземный ход тогда ты проходил?
Преображенец прав, а правнук так курнос,
И, верно, Летний сад за двести лет подрос.
От замка напрямик не разгадать Москвы
И не смягчить владык обиды и молвы.
Когда Ильич грузил в вагоны Совнарком,
Когда Сергей повис в петле над коньяком,
Когда генсек звонил Борису вечерком,
Ты отвалил уже свой черноземный ком?

Над люлькою моей приплясывал террор,
Разбился и сгорел «люфтваффе» метеор,
Скользил через мосты полуживой трамвай,
Шел от Пяти Углов на остров Голодай.

С площадки я глядел, как плавится закат —
Полнеба — гуталин, полнеба — Мамлакат.
Глухая синева, персидская сирень,
И перелив Невы, вобравший светотень.
Я на кольце сходил, где загнивал залив,
Где выплывал Кронштадт, протоку перекрыв,
И малокровный свет цедил Гиперборей,
Тянуло сквозняком от окон и дверей,
Прорубленных моей империей на вест,
Задраенных моей империей на весь
Мой беспробудный век... На мелководье спит,
Я видел,— кит времен, над ним Сатурн висит.
На бледных облаках тень тушью навела
Монгольскую орду и кровью провела
Кривой меридиан от рыла до хвоста,—
Так, значит, все, что есть и было, неспроста?

Ты знаешь, но молчишь — заговори, словарь.
Я сам себе никто, а ты всему главарь,
И ты, моя страна, меня не забывай
На гиблом берегу — пришли за мной трамвай,
Квадригу, паровоз и, если надо, танк,
И двинем на авось с тобой, да будет так!
В Преображенском хлябь, размытая земля;
А ну, страна, ослабь воротничок Кремля.
Как дети, что растут в непоправимом сне,
Откроем мы глаза в совсем иной стране.
Там соберутся все, дай Бог, и стар, и млад,
Румяная Москва и бледный Ленинград,
Князя Борис и Глеб, древлянин и помор,

Араб и печенег, балтийский военмор,
Что разогнал Сенат в семнадцатом году,
И преданный Кронштадт на погребальном льду.
Мы все тогда войдем под колокольный звон
В Царьград твоей судьбы и в Рим твоих времен!

СОДЕРЖАНИЕ

I. ТКАНЬ

Музыка жизни	5
Новогодняя оттепель в городе Зеленогорске, бывшие Териоки	7
Нежносмо...	9
Возвращение	11
Преображенское кладбище в Ленинграде	12
Художник и Модель	14
Праздник	16
«Деревянный дом у вокзала...»	19
599/600	21
У заставы	22
«Грай вороний над бульваром...»	23
Тайный агент	25
Джим	27
«Самой природы вечный меньшевик»...»	29
Международный вагон	31
В дорогу	32
Хинкальная «Инкит»	33
Утренняя речь по дороге в Дигони	35
Ранние помидоры	38
Московский вокзал	39
«Холодным летним днем...»	41
Последний день осени	42

Электричка 0.40	44
Из Лермонтова	45
Сосед Григорьев	48
Над Фонтанкой	50
За Крузенштерном	52
Завтрак на балконе	54

II. ТЕМНОТА ЗЕРКАЛ

В темном блеске	57
В последний раз	58
«Вдруг над черноморьем долгие раскаты, хлябь, гром...»	60
«Ты читаешь вполголоса...»	62
«Твой медленный голос с Кавказа...»	63
«Братья, пустите домой...»	64
«Все те же ионические поленницы в старом окне...»	65
Елисеевский	66
«Темный дождик в переулке...»	69
«Возле жерл Преображенского собора...»	71
«Ночной истребитель. во мраке...»	73
Кольцо «Б»	74
Тарас Бульба	76
«Сентября последнее...»	77
«Жизнь прошла, и я тебя увидел...»	79
Я забыл сказать тебе...	80
«На Каменноостровском среди модерна Шехтеля...»	81
Любовь к лиловому	83
«На старой-старой хроникальной ленте...»	85
«У зимней тьмы печали полон рот...»	87
Ночь в Комарово	88
Альбом Модильяни	89
Комета	91
Щелкунчик	92
Дом Мурузи	94
Старокрымская баллада	95

Австро-Венгрия	97
Дом поэта	99
«Где следопыт в шинели каменной...»	101
Брестский мир	103
Фонтанчик	105
«...И в дальний путь на долгие года...»	106
В старом зале	108
Сириус над Маасом	110

III. АЛМАЗЫ НАВСЕГДА

Няня Таня	113
Второе мая	118
Нинель	122
Никодим	125
«Над морем дождь...»	129
Мальтийский сокол (<i>Поэма</i>)	131
Мастерская	148
Шестое мая	152
«Чего мне ждать?..»	154
Ангел-истребитель	156
Алмазы навсегда. (<i>Поэма</i>)	158
Воспоминания в Преображенском селе	170

**ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ
РЕЙН**

ТЕМНОТА ЗЕРКАЛ

Редактор *А. В. Тюрин*
Художественный редактор *Д. С. Мухин*
Технический редактор *Е. П. Румянцева*
Корректор *Н. Г. Худякова*

ИБ № 7322

Сдано в набор 19.09.89. Подписано к печати 22.11.89.
А 05564. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага офс. № 1. Акаде-
мическая гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 7,7.
Уч.-изд. л. 5,87. Тираж 20 000 экз. Заказ № 559.
Цена 65 коп.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писа-
тель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11
Тульская типография Союзполиграфпрома при Государ-
ственном комитете СССР по печати, 300600, г. Тула,
проспект Ленина, 109

Рейн Е. Б.
Р 35 Темнота зеркал: Стихотворения и поэмы.— М.:
Советский писатель, 1990.— 176 с.

ISBN 5—265—01287—7

Несмотря на то что Евгений Рейн выпустил всего одну книгу своих стихов, его имя известно далеко за пределами нашей страны. Возможно, причины такого несоответствия между реальными масштабами творчества и признанием «в своем отечестве» в неординарности личности поэта, в его умении и нежелании быть «как все».

Во вторую книгу Евгения Рейна вошли наиболее острые стихи, которые не могли появиться в печати в прежние времена.

4702010202—498
Р ————— 224—90
083(02) — 90

ББК 84 Р7

